

ИСТОРИЧЕСКАЯ
АВАНТЮРА



Валерий ЕДМАНОВ

Последний Рюрикович



Валерий Елманов Последний Рюрикович

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164764
Последний Рюрикович: Крылов; СПб; 2008
ISBN 978-5-9717-0649-6

Аннотация

Конец XVI века. Политический авантюрист, агент ордена иезуитов Бенедикт Канчелло отправляется на восток. Его задача – привести Русь в католичество. Случай сводит его с мальчиком, похожим на царевича как две капли воды. Тем самым открывается простор для разнообразных комбинаций.

Заключив договор с крымским ханом, иезуит приступает к осуществлению грандиозного замысла. Однако вскоре наталкивается на непредвиденные обстоятельства, которые возможны... только на Руси.

Поражение? Но у Канчелло есть запасной вариант...

Содержание

Пролог	4
Глава I	8
Глава II	14
Глава III	23
Глава IV	29
Глава V	35
Глава VI	40
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Валерий Елманов

Последний Рюрикович

Пролог

Есть в истории десятилетия и века, которые как бы пребывают в забвении. Они молчат о себе, и только с превеликим трудом удастся вырвать из их жадных, скрюченных в спазматической судороге рук обрывок рукописи или пергамента.

Молчат века, принявшие в свое могучее чрево истории полчища готов и гуннов, словно у них отъяли язык. Суровое раннее Средневековье также старательно хранит свои тайны. Поэтому, наверно, и в учебниках истории эти века обходят суеверным молчанием, рассказывая о них в самых общих чертах.

В то мрачное время мирной жизни не было нигде. На побережье донимали своими набегами викинги, громя не только деревни, но и города, доходя через устья рек до самых сердец будущей Франции и Англии.

В глуби стран не давали покоя бедным труженикам кровососы всех мастей: от бедных рыцарей до могущественных герцогов и графов, от нищих королей до богатеев-купцов и ростовщиков-евреев, кои в то же время были бессильны перед обычным мечом пьяного крепостного.

Никто не мог чувствовать себя в безопасности, и могущественный владыка, выпивая перед сном чашу с бодрящим вином, которую ему подносила супруга, не мог поручиться, что в чаше этой нет медленно, но надежно действующего яда и что жить ему теперь осталось не более двух-трех недель.

Доверить кому-либо свое состояние, чтобы он помог твоим оставляемым в малолетстве наследникам, было безумием, а положиться на кого-либо – означало совершить медленное, но неотвратимое самоубийство.

То, о чем пели провансальские трубадуры, а следом за ними немецкие миннезингеры¹, не ложь. Это тоже было. Были и веселые пиры в мрачных, тускло освещенных светильниками и факелами замках, и подвиги в честь прекрасных дам, и щедрость с добротой, и бескорыстие с честью, которая дороже жизни, и любовь, которая сильнее смерти, иначе Петрарка не посвящал бы своей Лауре сонеты спустя годы и десятилетия после ее кончины.

Невозможно заглушить лучшие качества, которые есть в характере каждого человека и каждой нации, как невозможно прекратить развитие жизни.

XVI век – век переломный. И хотя пели еще менестрели о славных рыцарских битвах, сражениях и турнирах, восхваляя героев давно ушедших лет, и славили гусли и скорморохи Илью Муромца, спасавшего своей необъятной силушкой князя Владимира Красное Солнышко, но уже вступали в свои права неумолимая сила золота и могущество людей с тяжелой мошной. Тех самых, которых, вроде тех же ломбардцев или евреев, всего два-три века назад почитали за недостойных.

Старое причудливо переплеталось с новым, не желая уступать. Еще продолжали выступать мрачные тени древних обрядов и суеверий, но жизнь неумолимо высвобождалась из тесных оков догматов и старинных устоев, совсем недавно казавшихся незыблемыми и вечными.

¹ Миннезингеры (нем. Minnesinger – «певец любви») – поэты-певцы при германских дворах XII – XIII веков, перенявшие традиции провансальских трубадуров. Предметом их песнопений были рыцарская доблесть и беззаветное служение избраннице.

В одно и то же время великий Галилео Галилей разглядывал в свой телескоп с 32-кратным увеличением горы на Луне, спутники Юпитера и пятна на самом Солнце, а Елизавете Баторий, родственнице польского короля Стефана², доставляли невинных маленьких девочек, собираемых по всей Трансильвании, благодаря чему возникали страшные слухи о вампирах и упырях. Что она с ними делала, какие обряды и действия совершала, каких духов вызывала – не известно никому. Безгласные мертвецы молчали, а сама графиня созналась лишь в том, что в своем сумрачном замке она принимала ванны из крови младенцев.

Еще полыхали костры святейшей инквизиции, обрекая на мученическую смерть тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, но вся Германия уже глухо роптала, негодуя на ненасытность папского престола, который, уподобляясь той же Елизавете Баторий, жадно сосал кровь из всего немецкого народа.

И в то время как доминиканский монах Иоганн Тецель неспешно трусил на своем ослике от одного немецкого города к другому, торгуя индульгенциями, чтобы погасить долг Майнцского архиепископа Альбрехта Браденбургского перед банкирским домом Фуггеров³, точно такие же монахи и в той же Германии сами выступали против бессовестной жадности римских пап.

Еще готовится к публикации очередной том «Таксы святой апостольской канцелярии»⁴, а августинский монах Мартин Лютер дождливой октябрьской ночью украдкой крепит к двери церкви в Вюртемберге свои 95 знаменитых тезисов, знаменующих начало Реформации во всей Германии, да и не только в ней одной.

И даже такие благочестивые государства, как Испания или Португалия, невольно вносили лепту в дело отступления от «мудрых» географических откровений Библии по устройству мира. Именно их моряки раздвигали известные пределы земли, бороздя Атлантику и осуществляя великие открытия, и становилось невозможным заставить всех верить в плоскую Землю и прочие бредни.

И не случайно одновременно с неистовыми проповедями Лютера, а чуть позже Мюнцера и Кальвина появляется орден иезуитов, который сразу же активно берется за восстановление авторитета папской власти.

Устой и незыблемый порядок вещей рушился не только в Европе.

Еще свистели отравленные стрелы местных африканских племен, прижатых к зловонным тропическим болотам Конго неумолимыми португальцами, но после двухвековой и – увы! – проигранной борьбы за свою свободу уже почти исчезла на Канарских островах загадочная рыжеволосая раса гуанчей⁵ – двухметровых и светлокожих гигантов с голубыми глазами, переговаривающихся при помощи свиста за десяток верст и даже не знавших, что такое лодка, несмотря на то что их окружал со всех сторон Великий океан.

Еще пять индейских племен образовывали свой союз⁶ – Лигу ирокезов, и никто в индейском селении не оставался голодным, пока хоть в одном доме оставались съестные припасы, а колонизация Америки, точнее, пока что побережья, шла уже полным ходом.

² Имеется в виду Стефан Баторий (1533 – 1586), король Польский и великий князь Литовский с 1575 года.

³ Любопытно, что архиепископ Альбрехт занял эти немалые деньги (24 тыс. дукатов), чтобы выплатить их Риму, а точнее, римскому папе за богатейшие Майнцское и Магдебургское архиепископства.

⁴ «Такса святой апостольской канцелярии» – каталог преступлений и преискурант отпущений, в котором отпускались – за плату – такие грехи, как содомия и скотоложство (36 турецких ливров), убийство жены (8 турецких ливров и два дуката), убийство отца, матери, детей и других родственников (6 грассов), несколько убийств (30 турецких ливров), кровосмешение (4 турецких ливра) и прочие грехи, включая те, что совершались духовными лицами.

⁵ Канарские острова были открыты генуэзцами в 1312 году. Были окончательно порабощены королевой Испании Изабеллой лишь в 1494 – 1495 годах.

⁶ Образовался в 1570 году.

Еще ни один индеец не знал, что такое лошадь, и ходил на охоту пешком⁷, еще хозяйничала в роли главы семьи и рода в селениях пуэбло⁸ «старейшая мать», а весь Юкатан уже был захвачен и языческие рукописи майя горели в огне, зажженном испанскими завоевателями.

Благодаря непроходимым лесам еще век существовать свободному городу майя Тах-Ица, но Америка уже начала принимать кровавое Христово крещение.

Еще варят в маленьких селениях свой любимый напиток – шоколад с перцем – ацтеки, но уже рухнула их столица Теночтитлан⁹, и Кортес, расплавив все их богатейшие запасы золота, отправил огромный караван в Испанию, как долю главному грабителю, украшенному короной.

Еще не работает на земле ни один инка, считая это ниже своего достоинства, но безграмотный свинопас Франсиско Писарро от имени верховного правителя страны Атахуальпы уже правит их государством и прикидывает, кому бы посвятить храм Солнца после его соответствующей переделки в католический монастырь.

Еще неведом северо-восточный проход в Китай, но уже англичане снарядили караван из трех кораблей для его поисков. Пускай ни один из них не добрался до заветной цели и лишь один сумел достичь только Белого моря, благодаря чему его капитан англичанин Ченслер получил возможность побывать в Москве и повидать Ивана IV Грозного, но начало положено.

Еще в пути отряд Ермака Тимофеевича, снаряженный Строгановыми, но уже рушится при одних слухах о страшном огненном бое Сибирское ханство.

Растет и мощь Российского государства. Казалось, сама судьба благословила потомков Дмитрия Донского, наградив его и потомков за великую победу, одержанную на Куликовом поле. В течение двух с четвертью веков, то есть со времен восшествия на княжество самого Дмитрия и до кончины Иоанна IV, на московском престоле сменилось всего лишь шесть государей¹⁰, и каждый оставлял после себя наследника, из коих лишь один правил чуть менее тридцати лет.

В начале 80-х годов XVI века, несмотря на все самодурство и полководческую бездарность первого русского царя, за три года до его смерти положение России казалось еще прочным и непоколебимым: подавлена боярская оппозиция, утоплены в собственной крови самые умные и строптивые, ну а дураков и покорных бояться нечего.

Все хорошо складывается и с потомством. В расцвете сил Иоанн Иоаннович, будущий царь всея Руси. Вельми силен телом 27-летний наследник престола и крепок разумом, хотя и непомерно злобен, чем явственно напоминает своего царственного отца. Федор, правда, подгулял, будто отец у него не государь всея Руси, а какой-то пономарь: очень уж хил и набожен, но и это не беда – авось не ему царствовать, не ему держать в руках бояр. К тому ж и седьмая жена царя младая Мария на сносях. Глядишь, родит еще одного.

Да и мир, заключенный со Стефаном Баторием¹¹ в запольском яме, также радовал сердце царя, ибо даже ему надоели бесконечные войны. Будучи достаточно умным, Иван Грозный, сокрушаясь о потере Ливонии, в душе отлично сознавал, что если бы не героические подвиги псковских жителей, заставивших Стефана долгие месяцы войны потратить

⁷ Лошадей на американский континент завезли европейцы, и это было, пожалуй, единственным благом, которое они сделали для индейцев, да и то осуществленным случайно, помимо их воли. Только во второй половине XVIII века, когда они, частично одичавшие, уже образовали стада мустангов, их стали приручать индейцы.

⁸ Индейское племя на юго-западе Северной Америки. В XVI – XVII веках у них еще царил матриархат.

⁹ Современный Мехико, был взят в 1521 году испанскими войсками.

¹⁰ Это сам Дмитрий Донской (1359 – 1389), Василий I (1389 – 1425), Василий II Темный (1425 – 1462), Иоанн III (1462 – 1505), Василий III (1505 – 1533), Иоанн IV (1533 – 1584).

¹¹ Король речи Посполитой (1576 – 1586).

на одну лишь осаду Пскова, то дело закончилось бы для Русского государства значительно хуже, а так оно хотя бы осталось в своих старых границах.

Российскому государю, жестокому и деспотично-неумолимому, даже безумному в своем гневе, еще неведомо, что проклятья невинно замученных, скапливаясь где-то там, в горних высях, неизбежно возвращаются на землю, метко поражая все потомство, которое всегда пресекается на детях тиранов. Но пример Людовика XI – во Франции, который с интервалом в век почти полностью повторился в России, или совсем недавний – Генриха VIII в Англии – ему ни о чем не говорил¹².

Век шестнадцатый говорлив, но и он порою стыдливо кое-что замалчивает, не донося сути важнейших событий до нашего современника. Событий, кои оказывали прямое действие на судьбы народов не только матушки Руси, но и на всю Восточную Европу.

Еще впереди у Руси смуты и пожары, бедствия, мор, глад и холод, но уже готовы появиться на свет герои той повести, которую я предаю на твой суд, читатель. Будь же внимателен и... снисходителен, если встретится тебе непривычное, отличающееся от общепризнанного. Не торопись с недоверием отворачиваться и скоропалительно утверждать, что все это – явные враки.

Лучше вспомни, что историю описывали те, кто безвылазно сидел в своих монашеских кельях и далеко не всегда был очевидцем прошедших событий. Так что описывать ее они могли только с чужих слов. Да и эти их строки потомки спустя десятилетия вновь просматривали, и часть из них нещадно вымарывалась, а то и вписывалось поверх прямо противоположное первоначальному.

Предлог же для этого во все времена был самый что ни на есть благой: «Негоже, чтобы люди об оном ведали. Ничего, кроме повода для пустого злопыхательства, оно не даст, а для государства сие может обернуться в тяжкий вред, подрывая самые устои державы».

Потому и молчат летописи о страшных делах, что творились в те времена, а зачастую и вовсе стараются увести читателя с истинного пути, чтоб никто не смог проникнуть в сокровенные кладовые веков. Те самые кладовые, что наполнены тайнами власти, щедро орошенными кровью и надежно запрятанными среди безвинных трупов. Ибо где власть – там всегда трупы и кровь.

И мало кому удавалось проникнуть в эти кладовые безнаказанно и вынести на свет крупинки истины. Те крохи, которые так тяжелы и за обладание которыми человек очень часто платит жизнью.

А если даже и сумеет он донести до остальных правдивое слово и закричит торжествующе: «Смотрите, люди, как оно было!» – то много ли будет с того проку? То прежнее и ложное к тому времени уже настолько заполонит умы, что мало кто поверит новому. Ведь человек предпочитает думать как все, чтобы не выделяться из толпы, ибо это опасно.

Люди, оглядываясь, зачастую не могут сказать, что произошло пятьдесят лет назад. То у них один – мерзавец, а другой – ангел во плоти, то вдруг они, как в сказке, меняются местами... И кто скажет – где и в каком месте на самом деле истина?

Мне же еще тяжелее в своих попытках найти правду спустя четыре века. Правду, что была собрана по крупицам и сведена в единое целое.

К тому же спорить не берусь – может, и я в чем не прав, пытаюсь домыслить то, чего вовсе и не было... Может быть. Но я начинаю.

¹² Потомство Людовика XI (1461 – 1483) по мужской линии завершилось на его сыне Карле VIII (1483 – 1498), которого сменил на французском престоле его троюродный дядя Людовик XII, да и тот скончался бездетным. То же самое произошло с Генрихом VIII (1509 – 1547), сын которого, малолетний Эдуард VI (1547 – 1553), умер в возрасте 16 лет, не оставив детей, а окончательно пресекалась династия Тюдоров со смертью его дочери королевы Елизаветы I (1558 – 1603).

Глава I РОЖДЕНИЕ

Марфа лежала в стогу сена и корчилась в предродовых муках, а поодаль с засученными по локоть руками стоял татарин. Вдали уже догорала крохотная деревенька, в коей основной промысел составляло варение дегтя, отчего деревня и получила прозвище Дегтярное¹³.

Татарин скалил зубы в торжествующей улыбке и с нетерпением ждал, когда поднимется со страшной раной в боку, окровавленный, с помутневшим взором, но все еще пытающийся защитить сестру и не родившегося пока ребенка брат Марфы – Иванко.

Его руки судорожно хватали и выдергивали с корнем короткую июльскую траву. Казалось, что все попытки были тщетны, но вот в каком-то невероятном усилии Иванко рванулся и встал, шатаясь из стороны в сторону, будто после двух-трех выпитых чаш крепкого хмельного меда.

Только уж больно горек был этот мед кроваво-красного цвета, которым угостил его татарин из захавшего случайно малочисленного отряда. Чтоб рискнуть напасть хотя бы на крепость, стоящую на самом берегу полноводной Хупты и возвышавшуюся над нею крепкими деревянными стенами, еще не успевшими почернеть от времени, сил у них не хватало, а вот пограбить близлежащие деревушки – тут особого труда не надо.

Какое-то мгновение степняк насмешливо разглядывал смертельно раненного русского исполина, затем толкнул его в грудь, а когда тот упал, залился торжествующим хохотом. Было в этом смехе что-то наивно-детское, когда один мальчишка, поборов другого, радостно хохочет, уверенный в своей силе и победе.

Лежа на сене, Марфа с ужасом наблюдала эту страшную кровавую сцену, не в силах сделать что-либо, даже просто приподняться и отползти подальше, зарыться в духмяно пахнущий стог в надежде, что татарин, покончив с братом, забудет о ее существовании. Но сидящее в ней живое существо властно подавляло вспышками боли любую попытку пошевелиться.

В это время от горящей деревушки отделились с десятков всадников и на полном скаку промчались мимо места трагедии. Последний из степняков резко осадил свою приземистую лошаденку и что-то крикнул на чужом гортанном языке татарину, который в приступе безудержного хохота, обуявшего вдруг его, даже схватился окровавленными руками за живот. Видя, что тот не обращает на него ни малейшего внимания, всадник нетерпеливо взмахнул плетью и поскакал вслед за остальными.

«Уходят, – поняла Марфа. – Может, и этот...»

Она не успела домыслить до конца, когда татарин резко оборвал смех и, сузив зеленые волчьи глаза, и без того узкие, решительно выдернул из-за пояса нож. Марфа тут же поняла, что за этим последует.

И не только она одна. В то же самое время это, кажется, поняло и то существо, сидевшее в ней до поры до времени молча.

Едва под лучами яркого июльского солнца блеснула сталь, как все ее тело пронзила такая острая, стремительная, как удар сабли, боль, что она, не в силах больше сдерживаться, как-то утробно, по-звериному взревела. Прозвучало это настолько страшно, что даже татарин испуганно взвизгнул и оторопело обернулся.

¹³ Ныне современное Дегтярное, деревня близ города Рязска Рязанской области.

Почти сразу ему стало стыдно за свой испуг. Оказывается, крик принадлежал не русским ратникам, которых поблизости по-прежнему не было, а простой русской бабе, беспомощно лежащей на спине.

Он немного помедлил, а затем шагнул с ножом в руке к Марфе.

«А сено-то так и не успели убрать», – почему-то подумала она.

Ей слегка полегчало, боль стала тупой и вся скопилась внизу живота.

«Господи, хоть бы палку какую». – В отчаянии она безнадежно начала искать руками вокруг себя.

Татарин уже склонился над нею. В глазах его было жадное любопытство, и крестьянке вдруг стало так противно от надвигающегося на нее скуластого смуглого лица с полуоткрытым от предвкушения новой забавы ртом и жидкой бороденкой, что она, застонав от собственного бессилия, закрыла глаза.

Но в ту же секунду нащупав какую-то палку, невесть откуда взявшуюся в стогу, Марфа ударила ею наотмашь, вложив в это действие последние силы, и тут же вжалась в стог в утробном крике, предвещающем рождение нового человека многострадальной истерзанной Руси.

Больше у Марфы уже не было сил думать ни о чем другом, потому что боль была так сильна, что на какое-то мгновение даже вкралась кощунственная мысль: «И чего тянет? Нет, чтобы сразу зарезал, басурманин, а то разглядывает еще, собака поганая», – но мысль эта почти тут же отодвинулась куда-то в сторону, ее заслонила пелена нестерпимой боли, после которой пришли освобождение и странная легкость тела.

Еще продолжали от нестерпимых потуг болеть все косточки, но уже послышался первый неуверенный плач ребенка, похожий почему-то на кошачье мяуканье. С усилием приподнявшись и перекусив пуповину, Марфа отдрала от нижней юбки кусок полотна, завернула в него крошечное красное тельце ребенка и вдруг вся сжалась от мысли о проклятом нехристе, который, очевидно, ожидал конца родов, чтобы увезти ее в полон.

Она боязливо приподняла голову и увидела лежащего с запрокинутой навзничь головой и с перерезанным горлом татарина. Кровь уже слегка запеклась под палящими лучами жаркого летнего солнца, а невидящие его глаза удивленно смотрели в небо, будто у обиженного мальчугана, вопрошающего Аллаха, почему и за что у него отняли новую интересную игрушку.

Марфа огляделась вокруг в недоумении. Кто же это его так? Неужто братишка Ванятка изловчился? Нет, младший и любимый брат Марфы Ванятка лежал далеко в стороне от татарина, и если бы не тихие стоны, срывавшиеся время от времени с его губ, то можно было бы подумать, что он уже мертвый.

И тут взгляд ее упал на косу, острый конец которой был окровавлен, и она, уже смутно догадываясь о том, что произошло, потянула к себе невинное с виду орудие труда любого мирного крестьянина-землепашца, способное, как оказалось, стать грозным оружием даже в руках ослабевшей в предродовых схватках Марфы.

Вдруг опять послышался слабый стон. Она обернулась в страхе, что проклятый татарин ожил, и, намереваясь в праведном гневе своем покончить с ним окончательно, крепко зажав в руках косу, осторожно, чуть ли не на цыпочках, подошла к басурману. Но страхи были напрасны – татарин замолк навеки, а вот Ванятка, брат, был еще жив.

– Пить, – еле слышно прошептали его пересохшие почерневшие губы, а веки слабо дрогнули, и Марфа, очнувшись от оцепенения, бросилась к нему. Тут же подал голос умолкнувший было ребенок. Она рванулась назад, к малышу, но, здраво рассудив, что дите может и погодить малость, побежала к журчащему неподалеку родничку.

Там она второпях отдрала от своей нижней юбки еще один увесистый кусок холстины, смочила его в ручье и бегом бросилась назад.

Кое-как перетащив брата к стогу сена, так чтоб он попал в тень, она промыла и перетянула ему рану и кинулась к ребятенку. Кормя маленькое существо грудью, она мерно покачивалась, напевая ему что-то ласковое, как вдруг ее покой опять нарушил стон брата.

– Марфа, Марфуша, – прошептал он, еле шевеля губами.

– Что, Ванятка? – живо обернулась она к нему.

– Где? – прохрипел он из последних сил.

– Татаровья-то? – поняла она его недосказанное. – Далече ужо. Ускакали. А ентот вон, лежит, собака. Я его косой завалила. И сама-то не ожидала от себя, а вот поди-ка, – и Марфа стала путано и бессвязно рассказывать, как из последних сил тюкнула нехристя какой-то палкой, что случайно подвернулась под руку. Палка же оказалась косой. – Да хоть и с зажмуренными глазами, а как хорошо вышло: прямо по хрящу горловому попала ироду, а сама-то уже вроде как смертушки ожидала, да, вишь, небесная сила выручила. Господь помог, не иначе.

– Марфа, – перебил ее Ванятка.

– Что, родненький, что? – Она склонилась прямо к его губам, больше угадывая, чем слыша слова, еле доносившиеся из хрипевшего, пузырившегося розоватой пеной рта Ивана.

– Уходи, в Рясск уходи. Там люди... стены крепкие... людей много... пропасть не дадут... не оставайся здесь... сгинешь...

– Вместе уйдем, Ваня.

– Я здесь... ты зарой меня... собакам не оставляй...

– Что ты, что ты, Ваня. Я еще на свадьбе твоей спляшу, детишек покачаю. Ишь чего удумал, помирать собрался! Да ты еще его переживешь, – и Марфа для вящей убедительности оторвала ребенка от груди и поднесла поближе к Ивану, чтобы тот как следует его увидел.

Слабая улыбка на секунду осветила лицо умирающего, будто солнышко вынырнуло из-за тучки. Вынырнуло и тотчас же спряталось обратно. Но напрасно ждут люди, когда же оно появится снова. Пасмурный выдался сегодня денек для их семьи, да и для всей небольшой деревеньки.

– Ваняткой назови, – прошептал брат и, дернувшись, вдруг весь как-то обмяк. Тело его, сразу отяжелев, безвольно распласталось на душисто-медвяном сене.

– О-о-х, – выдохнула Марфа и в горестном оцепенении, словно надеясь, что брат Ванятка, меньший в семье и самый любимый, вдруг еще встанет, продолжала с какой-то тайной надеждой вглядываться в его лицо.

Но все было тщетно – улетела его душа в небеса, вырвавшись из оков плоти и подавшись в свой стремительный полет. Куда? А кто ее знает.

Так и осталась Марфа одна у стога сена с грудным ребенком на руках и двумя трупами мужчин, павших: один как герой – пытавшийся даже голыми руками хоть как-то защитить свою сестру, а другой – яко шатучий тать.

Уже смеркалось, когда Марфа выкопала две могилы. Первоначально хотела только одну, для Ванятки, но потом, глянув на облепленное мухами, темно-красное от крови горло татарина, с силой взмахнула косой, которая снова пришлось кстати, и стала с ожесточением рыть другую, успокаивая себя тем, что это тоже человек, хоть и враг-язычник, и негоже его оставлять волкам на расправу.

Незлюбива русская душа. Даже к врагам великодушно сердце простой рязанской бабы, столь много натерпевшейся от них же, но тратящей по-русски щедро остаток сил, дабы вырыть могилу для убийцы родного ей человека.

И ведь не из христианского милосердия, кое требует врага своего возлюбить яко ближнего, а побуждаемая голосом совести и сердца – широкого, доброго и щедрого, как широка, добра и щедра земля твоя, матушка Русь.

Триста с лишним лет уже гуляет татаровье по твоим просторам, сея смерть и пожары, насилюя и вспарывая животы женщинам, убивая не только мужчин, но и немощных стариков, но терпелива ты и покорно все сносишь, будто дано тебе это за грехи...

И даже вздымаясь в праведном гневе и сокрушая многочисленные, как песок на дне морском, вражьи конные полчища, отходишь ты сердцем к поверженному врагу и, ворча что-то невразумительно-сердитое, начинаешь по-матерински нежно ухаживать за басурманом, приговаривая в оправдание, что, мол, тоже душа живая, где-то, поди-тка, и мать с отцом есть и ждут.

И даже в смерти не оставишь его без последнего пристанища, отроешь для него землицы слабыми руками, только разве что крест на могилку не поставишь, да и то не твоя это воля, а запрет Христовой церкви, ибо язычнику сие не положено.

Возле могилы брата Марфа с минутку помедлила, припоминая слова заупокойной молитвы, но затем, вздохнув, обошлась «Отче наш» – той единственной, которую знала.

Волки уже завыли в чаще где-то совсем рядом, и Марфа, опасаясь брести в столь поздний час к Рясску, решила заночевать на пепелище сгоревшей деревеньки. Она уселась на теплую, прогретую не только солнцем, но и недавним пожаром землю, поворошила косою уголья, чтобы пожрали они остатки обугленных бревен и защитили от нападения волков.

Волки, конечно, будут получше, чем татары, ибо убивают только с целью насытить брюхо и никогда для развлечения, себе же подобных и вовсе лишь в исключительных случаях да в особо голодные годы. Однако встреча с ними в лесу ничего хорошего все равно не сулила, да к тому же ночью.

Пламя костра разгорелось, и искорка его долетела до щеки ребенка, до сих пор спавшего спокойно на руках у Марфы. Он открыл сонные недоумевающие глаза и закричал, да так громко, что Марфа вздрогнула, отвлеклась от тяжелых дум о дальнейшем своем житье-бытье и выпростала большую белую грудь.

– Уймись... княжич, – проворчала она беззлобно и, улыбнувшись, вспомнила, как совсем недавно, глубокой осенью, наезжал оглядеть, как идет укрепление засеки, коя проходила через Рясск, молодой княжич.

Как его величать, она так и не узнала, ибо случилось все это как-то накоротке, случайно. Ведь если бы он не набрел на их деревеньку, да еще в то время, когда никого в ней не было (братовья с отцом и матерью как раз укатили в Рясск за покупками, оставив Марфу сторожить дом от волков и прочей нечисти), то ничего бы и не стряслось.

Княжич же, скучая от этих засек, кои ему как пятое колесо в телеге, устроил охоту по осеннему лесу, да малость заплутал.

К тому же и взял-то он ее почти силой, ибо свою честь девушка не сменяла бы ни на богатое убранство, ни на золото с драгоценными камнями. Правда, что греха таить, и не очень-то она отбивалась, ибо запал он ей сразу в душу своей неопикуемой красотой, нежностью да ласковыми словами.

Таких слов Марфе никто ни до этого, ни после не говорил. Вот и согрешила она. А уезжая, он снял с руки золотой перстень да ей надел. Она и от этого отказывалась, что ж, за плату, что ли, доверилась ему, а он ласково сказал, что, мол, подарок тебе это, за любовь, за нежность да за красу твою.

Лишь через месяц поняла она, что встреча эта не осталась без последствий. И уже было хотела головой в прорубь, да мать, почуяв, что с родным дитем творится неладное, выпытала у нее все, что стряслось с Марфушей в тот тихий осенний вечер.

Той, правда, и поведать особо было нечего. Она ведь только имечко его узнать успела – Иваном княжич назвался, как брат. В остальном же – сплошная тайна. Да и не до того было, если уж честно признаться.

Мать вначале девоньку свою шалопутную как следует потаскала за косы, не без того, но вскоре сменила строгость на мягкость. Дело-то сделано, не воротишь. Теперь надо думать, как выкручиваться.

Пришлось старой Елисеевне взять грех на душу да наврать отцу с три короба, что дочь, пока они ездили торговать, ссильничал какой-то заезжий татарин. Смолчала же Марфа, потому как шибко боялась отцовского гнева.

Повозмушался немного Петр, да делать нечего, где его теперь искать, залетного, но зато поверил в нехитрую сказку жены сразу. Во-первых, в мыслях не держал, что жена его обмануть ради спокойствия дочерниного может, не заведено у них было это, а во-вторых, поблизости и впрямь никого не было.

Вся деревенька в то время в одном их домишке и заключалась. Только с весны этой объявились еще три семьи, польстившись на льготы, обещанные царем, да на освобождение от податей.

Им уже и срубы поставили сообща, всем миром, и сам отец каждый венец подгонял любовно, ибо русский человек по натуре своей строитель и созидатель. Более всего на свете любит он труд пахаря, добросовестно орошая своим потом каждую пядь земли, дабы сжалась она над землепашцем и дала богатый урожай.

Может, потому и войны захватнические завсегда были ему чужды, ибо каждый полководец – тот же бывший пахарь, и не с руки ему жечь чужие нивы, когда по опыту предков, пусть и отдаленных, но еще смутно угадываемых душой, знает он, как дорого достается хлеб на своей.

И в том, что не вышло осесть им здесь, что помешала чужая злая воля, беды непоправимой все равно не было. Рано или поздно, но придут они опять на эту землю и вновь засеют ее, щедро окропив собственным потом.

Уже забрезжил рассвет. Костер тоже догорал. Марфа еще раз оглянулась на лес, такой родной и близкий, а вот поди ж ты, не добежала, тяжело было, потому и брат остался, чтоб защитить ее.

– А все из-за тебя, – укоризненно сказала она крепко спящему малышу.

Потом с тяжким вздохом поднялась, поклонилась напоследок могиле братца и тронулась в путь, к Рясску. Верст семь до него, не так уж и далеко, но у Марфы вторые сутки во рту ни маковой росинки, да и останавливалась, чтоб дите кормить, так что дошла она только к полудню.

Город был цел, и стены его стояли так же несокрушимо для врагов, а может, из-за малого числа воинов татары и вовсе к нему не сунулись. И так же мирно текла Хупта, и все было как всегда, а родителей нетути, и братьев тоже, и только теперь, осознав все происшедшее, протяжно, в голос завывала она от тоски и безысходности, а в унисон ей, только октавой повыше, заверещал младенец.

А как же иначе? Коли худо матери, значит, не сладко и ему. Дети – они сызмальства, даже не научившись говорить и ходить, отлично все чувствуют, а подчас и побольше взрослых. У тех-то понимание идет все больше от разума, который набирает силу лишь с годами, у них же – от сердца.

– Ничего, люди в беде не оставят, – успокаивающе заметила она малышу. – Народ у нас добрый. Подсобит. А ежели перстень продать (она его все время носила на груди на бечевке, ибо так и отец не приметит с братовьями, коли наткнется невзначай, да и самой отраднее – память все же), то и дом поди-тка новый купить можно будет.

– Нет, – поправила она себя через секунду. – Перстень нельзя. Подарок. Подрастешь, может, когда по нему и отца своего московского распознаешь.

Нельзя перстень, – еще раз повторила Марфа с укоризной, будто эту крамольную мысль высказала не она сама, а ее крохотный (один день от роду) сынишка. – Мы и так не

пропадем, – твердо сказала она, уже входя в городские ворота и больше успокаивая этим уверением себя, нежели сына, который опять спокойно уснул, не ведая, что за беспокойную жизнь уготовил ему насмешливый рок и как хитро переплетется вся судьба земли Русской с его собственной.

Спи пока, милый Ивашка, нареченный в честь невинно убиенного дяди, которого ты никогда не увидишь, а о его беспримерной отваге и смелости будешь знать лишь по рассказам матери. Спи, ведь тебе нужно набираться сил перед долгими странствиями, приключениями и испытаниями, каковые уже разбросал крупными зернами небесный пахарь на твоей нелегкой дороге жизни.

Пусть спит вместе с ним и появившийся на свет чуть позже, в дождливый октябрьский вечер того же 7060-го¹⁴ года, новорожденный Дмитрий, последний отпрыск бешеного государя всея Руси, развалившего страну и ввергшего Русь в пучину бесчисленных неудачных войн. Государя, приписывавшего себе все заслуги по расширению русской земли, которые на самом деле лишь созрели в его царствование, будучи всходами тех семян, что бросили в землю его осторожный отец и великий дед, Иоанн III Васильевич, тоже, бывало, и казнивший бояр, и подавлявший бунты, но никогда не проливавший лишней крови.

Пусть спит вместе с ним и маленький Георгий, ненаглядный единственный сынок в не приметной ничем семье стрелецкого сотника Богдана Отрепьева и жены его Варвары.

Ему ведь тоже в скором времени предстоит остаться без отца, а посему пусть пока отдыхает и крепнет, ибо нет его вины в будущем. Суетен человек и слаб перед сокровищами мирскими, и тяжело ему не возжелать раба и дом и даже жену ближнего своего, ибо манит его своей легкостью и доступностью богатство и не всегда есть силы в душе, дабы возмочь и не брать того, что, казалось бы, само идет в руки.

В тяжелое время вы все родились, и нет на вас вины за то, кем каждый из вас вырастет. Многие зависит от полученного воспитания, но еще больше от того, неведомого и не ясного даже великим умам современности, что закладывается в тело и душу каждого еще при рождении.

И впрямь, не дано маленькому птенцу выбирать, кем ему стать – то ли могучим орлом, то ли звонким соловьем, то ли тщедушным воробушком. Все это, повторюсь, дается человеку от рождения и воспитания, а он ни того ни другого сам не выбирает, посему и вина на нем лежит только частичная.

Суровая година ждет вас всех троих, и хоть говорлив этот век без меры, порой и он умалчивает о многом, рассказывая о вас. Не все можно поведать, и не все тайные пружины истории мы знаем, хоть порой и кажется, что дошли до самой что ни на есть сути.

¹⁴ 1582-й год.

Глава II ВЕЛЬСКИЙ И НАГОЙ

В тесной горнице сановитый, дородный боярин, не соответствуя никоим образом своей внешности, бурно жестикулировал, тряся руками, и что-то кричал, брызжа слюной перед самым носом сидевшего в задумчивости за столом человека в черной шубе.

Слуга Онисим, еще три года назад приметивший эту горницу, использовавшуюся для тайных задушевных встреч хозяином дома Богданом Яковлевичем Вельским, уже давно про-сверлил дырку в стене. Когда-то она была почти что незаметна, менее человеческого зрачка, но постепенно он ее расширил, и стала она аж полтора вершка¹⁵.

После подслушивания Онисим аккуратно затыкал ее точно вырезанным из дерева бруском, подогнанным так аккуратно, что заметно его было, только если всматриваться очень внимательно. А коли говорилось что дельное али учинялись какие-нибудь козни, то старательно доносил слухачу Бориса Годунова Федору Шептуну, прозванному так за то, что он всегда говорил тихо и никогда не повышал голоса.

Делал это Онисим с превеликим усердием, хотя Шептун был весьма и весьма скуповат. Правда, случалось, и за такую безделицу одаривал, что деньгу брать совестно, а один раз – было это два года назад – до того расщедрился, что дал целый рубль. Было бы за что, а то ведь в беседе с кем-то (лица Онисим не узрел, спиной человек стоял) по случаю рождения у царя-батюшки Иоанна Васильевича младенца мужского полу хозяин дома всего-навсего обмолвился:

– Наследник родился. Еще один. – И угрожающе добавил: – Таперя поглядим.

Онисим тогда даже удивился такой воистину царской щедрости Шептуна, но рубль взял и положил в свой кожаный мешок, спрятав его в надежном месте. Он уже и сам забыл, сколько там денег, смутно припоминая, что для обзаведения собственным хозяйством еще недостаточно. Но деньги были не главным, что толкало слугу на предательство по отношению к своему боярину. Основным побуждением Онисима была месть. Лютая, звериная месть.

Он был еще отроком, когда по приказу самого Богдана Яковлевича засекли за неуплату оброка его отца, рано поседевшего от постоянных неурожаев и беспросветной бедности, из которой тот никак не мог выбраться.

Засекли до смерти, а когда мать-старуха кинулась, чтобы удержать руку с кнутом, то пару раз хлестанули и ее, дабы не лезла баба не в свои дела. Вроде и не сильно били, а вот поди ж ты, так неловко отшатнулась мать, что оступилась да виском о камень и приложилась.

Так в одночасье потерял Онисим родителей. Сестра же его лишилась ума от пережитого ужаса.

Потому и горела в сердце у Онисима жгучая ненависть к Богдану Яковлевичу Вельскому, потому и старался он сделать все, чтобы навредить светлейшему боярину. Да и сам Шептун чувствовал, что Онисим наушничал ему на своего господина не из-за денег. Может, поэтому и платил мало.

Вот и сейчас, как только приметил расторопный слуга поднимающегося к ним на крыльцо и пыхтящего на каждой ступеньке Афанасия Федоровича Нагого, так сразу же метнулся отворять свою дыру. Разговор предстоял интересный, к тому же Нагой ничего не таил, разговаривал громко, так что слышно было Онисиму хорошо.

¹⁵ Вершок – 4,55 см.

– Что ж ты все молчишь, Богдан Яковлевич? Али тебе, именитому боярину, первейшему на Руси опосля царя-батюшки, пристало идти по одной дорожке с князьями Милославским да Шуйским? Не боишься, что узка та дорожка для тебя покажется? Их двое, а ты один. Спихнут ведь, ей-ей спихнут. Хорошо, ежели в монастырь, а ну как подалье, чтоб уж не возвратался? А ведь ежели Федора на царствие посадят, не ты – они первейшими станут.

– Складно ты речь ведешь, Афанасий Федорович, – наконец-то вступил в беседу Вельский. – Только ежели не Федор, тогда кто же?

– Вот те на, – Нагой даже опешил от такой наглости. – А ты что же, ай забыл про царевича Дмитрия, сынка царицы здравствующей, Марии Федоровны?

– Племянничка-то твоего? Помню, не запомнил еще. Да вот беда. – Вельский сокрушенно развел руками. – Не доподлинная она царица. На престол-то незаконно возведена, ты уж прости на прямом слове, Афанасий Федорович.

– Вона ты как дело повернул. – Нагой даже икнул от возмущения. – А сам-то ты рази не кланялся ей, царские почести воздавая?! И какой тебе еще закон нужен, коли сам Иоанн Васильевич...

– Покойный, – ловко вставил Вельский, набожно перекрестясь на икону, висевшую у углу, с изображением Георгия Победоносца, пронзающего копьём крылатого змия.

Казалось, что рыцарь в нарядных латах весьма мрачно и неодобрительно поглядывал на обоих собеседников, словно давая понять: «Погодите, этого прикончу и до вас доберусь».

То ли иконописец был великим поклонником царя, то ли царский лик так запал ему в память, виденный скорее всего пару раз, да и то мельком, но на миг и Вельскому, и Нагому, тоже глянувшему вскользь при крещении на икону, показалось, будто взирает на них со стены сам Иоанн Васильевич, и не копьё это у него в руке, а острый посох.

«Мало я из вас, поганцев, кровушки-то повысо-сал, рановато вы власть делить удумали, я ведь еще встану», – казалось, говорил его острый взгляд.

Вельский даже зажмурился и, опять открыв глаза, с облегчением вздохнул.

– Поблазнилось чтой-то, – смущенно пробормотал он как бы в оправдание перед своим пустым и глупым страхом.

– Того и поблазнилось, – повернулся к нему строгим взором Афанасий Федорович, – что мысли у тебя греховные появились супротив царской воли. Да как скоро-то?!

Вельский как-то по-бабьи в изумлении всплеснул руками.

– Покойник даже остыть не успел, а ты уж перечить! – возмутился он.

Онисим от удивления чуть не присвистнул за стенкой, но вовремя сдержался.

«Оказывается, царь-батюшка, Иоанн Васильевич, почил ужо, а ведь вечен казался. Почему же колоколов не слышать было по усопшему? Что за тайна такая? Хотя я сегодня все утро ключницу тискал в погребе, где ж услышать-то, ежели бы даже и звонили. А можа, я их и не так понял? Да нет, видать, точно помер, то-то боярин такой мрачный приехал, да и у самого хозяина вид – краше в гроб кладут. Ну-ну, поглядим, что теперь».

И Онисим еще плотнее прижал ухо к дыре, чтобы не упустить чего из разговора.

Вкрадчивый тихий голос Вельского был слышен достаточно отчетливо.

– Да не перечу я вовсе, Афанасий Федорович. Токмо ты сам рассуди: царицей твою сестрицу объявить, конечно, его царская воля была. – Вельский почему-то старался избегать называть покойника по имени. – А вот по христианскому закону сие было али как? Да тебе, – продолжил он, разгорячившись, – любой поп, самый захудалый да неученый, скажет, что токмо трижды разрешено православному человеку жениться. А Марья-то у него какая по счету женка будет?

– Ну, седьмая, – буркнул Нагой неохотно. – Хотя это смотря как считать. Вот гляди, – он начал обстоятельно загибать пальцы. – Третья его жонка, Марфа Собакина, в зачет не идет,

потому как настоящего супружества он с ней не имел, девственности ее лишить не успел¹⁶, и церковный собор это признал.

– Ага, – саркастически хмыкнул Вельский. – Только не забудь, что заправлял всем на нем новгородский архиепископ Леонид.

– Ну и что? – в недоумении возрился на собеседника Афанасий Федорович. – Что с того, что Леонид?

– Ас того, что в памяти у старика в ту пору новгородский погром свеж был¹⁷, вот он и потакал царю, чтоб тот опять не взбеленился. Сам, поди, ведаешь, что государю перечить – все равно что на медведя-шатуна с голыми руками идти. С предшественником-то его, архиепископом Пименом, что случилось¹⁸ – помнишь ли?

– Помню, – неохотно отозвался Нагой. – Однако, как бы там ни было, а разрешение дано было, и брак тот пошел не в зачет.

– А Анна Колтовская да Василиса Мелентьева? Они как? – снисходительно улыбнулся Богдан Яковлевич.

– Они бесплодны были, – буркнул Афанасий Федорович. – То и церковь православная позволяет для царей – ежели царица бесплодна, то брак не в зачет.

– Не в зачет, коль у царя наследников вовсе нету, как это у Василия Иоанновича с Соломонией Сабуровой приключилось¹⁹. Тут конечно. Вот только у нашего государя к тому времени уже двое сыновей имелось²⁰. Так что не надо здесь, боярин, тень на плетень наводить. К тому ж ты про Анну Васильчикову позабыл, кою он казнити повелел. А Марья Долгорукая? Сызнова запамятовал? Ей царь что – тоже за бесплодие казнь учинил? Не рано ли?²¹ Оно ведь и мышам срок нужен поболее, чтоб родить.

– То за измену – стало быть, тоже не в зачет, – вяло отозвался Нагой, сам понимая абсурдность собственных слов, но еще не теряя надежды уговорить Вельского. – А даже если и считать их, то что с того? – с вызовом посмотрел он на Богдана Яковлевича. – Дите не они, а моя сестрица Марья от царя нажила.

– Ас того, – поучительно заметил хозяин дома, – что ежели хотя бы половину из них считать, то выходит, что царевич Дмитрий вовсе и не царевич, а как бы незаконный получается²².

¹⁶ Дочь знатного новгородского купца Марфа Васильевна Собакина вышла замуж за Ивана IV 28 октября 1571 года, а спустя две недели, 13 ноября, она уже умерла. Когда в 1969 году ученые вскрыли саркофаг с ее телом, то удивлению их не было границ – царская невеста лежала, как живая, и даже на щеках ее оставался румянец. Исходя из этого можно сделать вывод, что подозрения царя относительно отравления его невесты были небеспочвенны и именно яд оказал столь удивительное воздействие, полностью остановив тление труп покойной.

¹⁷ В декабре 1569 года Иван Грозный устроил карательный поход на север, подвергнув погромам Тверь, Торжок, Вышний Волочок, Валдай, Яжелбицы, а в январе – Новгород. Согласно летописям, царь топил в Волхове по 1000 человек в день, и в редкий – по 500. Церковный собор для разрешения царю четвертого брака был созван спустя два года – в январе 1572 года.

¹⁸ У архиепископа Пимена царь, прибыв в Новгород, даже не стал целовать креста. В тот же день Пимен был обвинен в измене, арестован и отправлен в Александровскую слободу, а к следующему лету, после продолжительных пыток, которым он подвергся вместе с остальными «заговорщиками» (300 человек), казнен мучительным образом.

¹⁹ В 1526 году, после 20 лет супружеской жизни, не имеющий детей Василий III Иоаннович развелся с бесплодной Соломонией Сабуровой, которая под именем Софьи приняла постриг в Рождественском девичьем монастыре, а сам женился на Елене Васильевне Глинской.

²⁰ Иван Грозный от первого брака с Анастасией Никитичной Юрьевой-Романовой имел сыновей Ивана (1554 – 1582) и Федора (1557 – 1598).

²¹ «... в ноябре 1573 года Иван Васильевич женился на Марье Долгорукой, а на другой день, подозревая, что она до брака любила кого-то иного, приказал ее посадить в колымагу, запретить диких лошадей и пустить в пруд, в котором несчастная и погибла...» (Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. I. вып. II).

²² Согласно традиций православия того времени, на Руси дозволялось жениться – людям из числа «белого» духовенства – один раз, всем прочим – не более трех. Развод же допускался в исключительных случаях: только для великих князей (позже – царей) и только по одной причине: бесплодие царицы и необходимость воспроизвести наследника рода.

– Ты думай, о чем речешь и как! – рывкнул Нагой, хватая Вельского за грудки и тряся с силой. – То царская воля была. К тому ж тебе так говорить и вовсе срамно – вспомни, что покойный государь одному тебе воспитание младенца царского роду заповедал в завещании своем. Одумайся, Богдан Яковлевич! – уже умоляюще выдохнул он, немного остыв и отпустив слегка помятого Вельского.

– А тут и думать нечего, – сердито ответил тот, садясь на лавку. – Присядь лучше да охолонь, а то расшумелся тут. Не приведи господи, услышит кто. Что тогда?

– Во! – Нагой торжественно поднял указательный палец, будто обрадовавшись чему-то в речах Вельского. – Два виднейших мужа на Руси, два боярина именитейших, уже ныне, аки тати в ночи, шепотом должны речь вести. А это ведь начало токмо. Как дальше-то будет, не боишься ли, Богдан Яковлевич?

– Мне?! – Вельский надменно усмехнулся. – Мне, Богдану Вельскому, бояться?! Да в своем ли ты уме, Афанасий Федорович? Или ты спозаранку медовухи укушаться изволил? Али ты и сам раньше ничего не боялся? При покойничке-то, – и он опять небрежно перекрестился, на этот раз уже не глядя на икону, – пострашнее бывало. Живешь и не знаешь, будешь завтра здрав ал и уже на дыбе проснешься. А с тобой я не пойду. Случись неудача – и сам Федор не простит, видя, как мы его обошли, а уж Шуйские с Мстиславскими тем паче. Не забудь, что их, равно как и меня, – многозначительно подчеркнул он, – сам покойный государь в душеприказчики назначил. А за нами кто пойдет? Никита Романыч? Стар он и перечить царю, хошь и покойному, нипочем не станет. Может, конечно, и наберем пяток бояр из худородных, но силы-то у них нету. Разве что Годунов... Ежели Бориса Федоровича на свою сторону привлечь...

– То он тут же всех и продаст, – подхватил зло Нагой.

– Напрасно ты так, – протянул с укоризной Вельский. – Лукав он, хитер – это да, есть за ним такое, а вот в Иудином грехе не замешан.

– Не верю я ему! На ноготок малый не верю!

– Это ты потому так злобствуешь, – проницательно заметил Вельский, – что у него одного, хоть он и вместих с нами в опричнине ходил, длани в крови не замараны, как у нас с тобой. – И насмешливо уставился на гостя. – Скажешь, не так?

Нагой молчал. Сказать, что не так, ему, конечно, очень хотелось. Кому иному он, может быть, и осмелился это произнести, но хорошо осведомленному о всех его тайных кознях Вельскому говорить такое означало просто поднять себя на смех²³.

– Да еще за отца своего серчаешь, коего наш царь, уличив твоего батюшку в клевете на Годунова, повелел казни предати²⁴, – веско добавил хозяин терема. – А мы с Борисом Федоровичем еще в Серпуховском походе вместе в рындах при царском саадаке²⁵ хаживали, так что слов худых супротив него мне не сказывай.

– Все едино – не верю, – упрямо отозвался Нагой. – А ты так за него стоишь, потому что свояком ему доводишься²⁶.

– И вовсе нет, – не согласился Богдан Яковлевич. – Просто под ним ныне тоже земляца горит. Он же худородный, как и мы с тобой.

²³ Начало своей карьеры Нагой положил благодаря доносам на главных земских бояр, которых Афанасий Федорович не долго думая обвинил в предательских сношениях с крымскими ханами.

²⁴ Когда Иоанн Грозный поднял посох на своего сына, Годунов бросился удержать его руку и сам получил несколько ран. Позже Федор Нагой заявил, что Борис не является ко двору не от ран, а потому, что злобствует на царя. Тогда тот сам приехал к Годунову с проверкой. Увидев на его теле еще не зажившие раны и заволоки (швы) на них, сделанные купцом Строгановым, царь повелел Строганову сделать точно такие же швы на боках и на груди Федора Нагого, да чтоб побольнее.

²⁵ Рында при царском саадаке – хранитель лука и стрел царя во время боевых походов.

²⁶ Оба они – и Годунов, и Вельский – были женаты на дочерях Малюты (Григория) Скуратова-Бельского, по сути являвшегося одним из главных царских палачей.

– Да пожалуй, что и похуже, – заметил Нагой. – У меня в роду татар отродясь не было²⁷.
– Родом он, может, и похуже, – веско заметил Вельский, – зато ныне нам, худородным, прямой резон за него держаться. Он теперь и токмо он и опора наша, и надежа, и оплот.

– Это еще с какого ляда?! – возмутился Афанасий Федорович.

– Ас такого, что нынешняя царица Борису Федоровичу – сестрица родная и, насколько я ведаю, брата своего очень уж любит. А ежели за него цепляться, то о Дмитрии надобно позабыть, и накрепко, потому как самому Годунову простой резон тоже за своего царственного зятя уцепиться, – добавил Вельский.

– Ну да господь с ним, с Годуновым. Ты сам-то твердо надумал за Федора стоять?

– Ежели мы ныне с тобой вместе поднимемся, то супротив нас вся Москва встанет, а не только бояре земские. Супротив всех нам так и так не сдюжить. К тому же у них такая сила в руках изначально будет, как само царское завещание, а ты помнишь, что Иоанн Васильевич в нем повелел?

– Ну, Федора-царевича наследником престола объявил, – с видимой неохотой отозвался Афанасий Федорович.

– То-то. А коль я ныне слово свое за Дмитрия-младенца подам, вот тогда-то уж точно все. Да окромя того, даже ежели осилим мы, все равно худые дела могут приключиться. Уж больно ненадежен твой царевич. А ну как помрет в одночасье – что тогда? – спросил хозяин дома и сам же ответил: – А тогда-то нам с тобой уж точно головы не сносить.

Наступила тишина. На этот раз Вельский попал в самое уязвимое место. Во всех доводах и рассуждениях брата царицы, теперь уж вдовствующей, было то, чего опасался и сам Нагой. За те несколько часов, прошедших с момента, как он узнал о кончине Ивана Грозного, у боярина раз десять уже мелькала подобная мысль. Тем более уж кому, как не ему, было известно о постоянных приступах падучей у младенца.

То ли трудные роды виною тому стали, то ли мужеская слабость самого царя, но уже при рождении бабка-повитуха, пробежавшая мимо Афанасия Федоровича из царицыных покоев, шепнула ему заговорщицки на ходу «мальчик», чем безмерно обрадовала, но тут же успела повергнуть его и в уныние, продолжив: «...только не жилец он, пра слово – не жилец. Слабоват, и порча – смотреть страшно».

Дней через несколько Афанасий Федорович на правах ближайшего родича зашел глянуть, как там надежа рода Нагих, и почти уже успокоился: «Мало ли что старой хрычовке померещилось, а вот поди-ка не помер досель».

Вначале все шло как нельзя лучше. И сама царица, сестрица родная, по воле случая взлетевшая на самый верх власти, красой и свежестью лица порадовала глаз брата, да и наследник, как его сразу окрестил в душе боярин, тоже на умирающего мало похож был.

И только собрался Афанасий Федорович уходить, на прощание сделав младенцу ласково «козу», как сам увидел, что пророческие слова бабки сбываются. Неожиданно с безмятежно агукающим дитем, спокойно шевелившим ручонками и, казалось, не обращающим на пришедшего боярина ни малейшего внимания, приключилась странная и резкая перемена.

Лицо его в мгновение ока посинело, глаза, впившиеся на секунду в опешившего Нагого, вдруг закатились, и все тельце его забилося в безудержном приступе падучей. Казалось, ребенок хотел закричать, сам испугавшись буйных движений собственного тела, но не мог этого сделать и только хрипел страшно.

Затем широко раскрытый рот закрылся, и из груди ребенка через плотно сжатые губы доносилось только мычание. Синюшный оттенок кожи постепенно темнел, понемногу пре-

²⁷ Род Годуновых вместе с Сабуровыми и Вельяминовыми-Зерновыми происходит от татарского мурзы Чета, в крещении Захарии, который выехал из Орды к великому московскому князю Ивану Калите и построил в Костроме Ипатьевский монастырь. Тот самый, в котором в 1613 году венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил.

вращался в черный, закатившиеся зрачки никак не хотели возвращаться в орбиты, и, поблескивая белками, дитя наконец затихло. Ручки и ножки его бессильно свесились, из груди раздавался протяжный стон прощания с негостеприимным миром, который никак не хотел его принимать к себе.

– Кончается, – жалостливо охнула кормилица, неловко схватив на руки детское тельце, отчего головка со слипшимся от выступившего пота клоком жидких волос бессильно запрокинулась.

О-о, в ушах Афанасия Федоровича и посейчас стоит дикий визг, да нет, скорее рев, сестры Марии. После увиденного его не больно-то и обрадовало, когда дитя, после долгих хлопот над ним, наконец ожило.

«Сейчас живой, а завтра, глядишь, и помре, – сокрушенно подумалось ему. – Тогда прощай, надежда рода нашего».

Так расстроился боярин, что вышел вон, даже ни с кем не попрощавшись. Зрелище было настолько ужасным, что он более не стремился увидеть крохотного Дмитрия, как окрестили младенца в честь великого воителя и полководца, внука Ивана Калиты²⁸, причем окрестили второпях, опасаясь, дабы не умер некрещеным.

Даже на крестины не пришел боярин, сославшись на тяжкое недомогание. Впрочем, стать отцом от бога у царственного ребятенка почел бы за честь любой вельможа, так что отсутствие Афанасия Федоровича прошло незамеченным. А князь Милославский, довольный донельзя, что ему такая честь выпала, не поскупился и возложил на младенца свой фамильный крест, который почитался в его роду святыней. Золотой, весь усыпанный яхонтами²⁹ и лалами³⁰, был он неопикуемой красоты, и даже царь Иоанн Васильевич оценил его по достоинству, крикнув:

– Эко, лепота кака. Царский крест.

– Потому царевичу и дарим, – учтиво отвечивал старый князь, гордясь без меры, что довелось ему на склоне лет стать царскому сыну крестным отцом.

Но ничего этого Нагой не видал.

Правда, к здоровью Дмитрия он всегда питал живой интерес и частенько осведомлялся, как он да что. Вести, получаемые им из разных источников, все были на одну личину и не шибко радовали.

«Все то же, – слышал он из разных уст приближенных царицы. – Бьется, сердечный, в припадках, аки бес в ем сидит, выползать не хочет. Замучила совсем падучая. Ох, не жилец он, не жилец».

Что же ответить тут Вельскому? Возразить-то надо, а как?

– Это конечно. Но и то сказать, все мы под богом ходим. – Афанасий Федорович робко кашлянул, но, желая придать своим речам больше уверенности, повысил голос: – Да и, Богдан Яковлевич, порою ведь как бывает, глядишь, захворал ты тяжело, ажно в постель слег и уж полгода не встаешь. Я по тебе скорблю всяко, а там, глядь, ан меня уже нет, а ты через годик опять на ногах, румянцем пышешь и еще полета годков проживешь.

– И то правда твоя, да только хлипкое у покойника семя. А окромя того, царевич Федор хоть разумом и не богат и здоровьем своим тоже, дак зато ему и лет поболее. Согласись сам, что в двадцать семь годков случайная смерть редко бывает, а в два года – сам понимаешь. Да еще ежели детское здоровьишко неизлечимой болезнью надорвано. Падучую-то вроде никто никогда не излечивал, так?

²⁸ Имеется в виду Дмитрий Донской (12.10.1350 – 19.5.1389) – великий князь Московский с 1359 года, великий князь Владимирский с 1363 года.

²⁹ Яхонт – изумруд (*слав.*).

³⁰ Лал – драгоценный камень, научное его название – красная шпинель, но из-за красного цвета его часто путали с рубином, который на Руси также называли лалом.

– Тут спору нет, – тихо сказал Нагой и, перейдя на страстный горячий шепот, склонился к самому уху Вельского: – Да это особой важности и не имеет. Нам лишь бы его посадить. А как помре, так можно и Марию царицей объявить. Что нам будет за указ, коли к тому времени все в свои руки уже возьмем?

Вельский невольно глянул на волосатые ручки Нагого, которые аж дрожали от напряжения.

«Да-а. Такие что ни ухватят, все мало будет, – мелькнуло в его голове. – И родни уж больно много изголодавшейся. Вам всю Русь бы скормить, да и то „Мало!» заорете. К тому ж я и сам тебе только до поры нужен буду, пока Рюриковичей с Гедеминовичами не спихнем, а там, глядишь, и меня следом за ними в монастырь али на плаху отправишь».

– Нет, Афанасий Федорович. Есть резон в твоих речах, конечно, однако ж сам как следует тверезым умом помысли. Ты погоди, не кипятись, – осадил

Вельский готового уж было подняться с новыми доводами в защиту своего замысла Нагого. – Ежели тебя с бадьи водичкой студеной сбрызнуть – шипеть будешь, пра-слово, накалился как. Слушай лучше мое последнее слово. Супротив Димитрия, тебя опасаясь и всей родни твоей, все бояре поднимутся. Духовники первыми Димитрия на царство венчать откажутся.

– Заставим, – заикнулся было Нагой.

– Некому, Афанасий Федорович. Та рука могучая уже никогда не поднимется. Да и он мог, только поелику высшей властью в стране владел. Тогда да, тогда ему и не такое под силу было. Старшинство тако же забываешь. Федор неизмеримо старше годами. Знаю, знаю, что ты скажешь, – замахал он на собеседника руками. – Было такое раз, когда великий князь Василий Димитриевич Василию Темному бразды вручил, обойдя Юрия Димитриевича. Но там иное. Там брат покойного с его сыном схлестнулся. А что потом было, слышал? И самому Василию глаза выкололи, и братья его, хоть и не единоутробные, пострадали вельми, и Русь в огнях да пожарищах была. Да, удалось Василию удержаться, но ты и того не забудь, что ему лишь случай помог, когда его дядя внезапно смерть принял, сидючи на престоле московском³¹. И еще одно напомним – то прямая воля усопшего великого князя Василия Димитриевича была, а тот сыном самому Донскому приходился. Тут же что: твоя воля да моя, и все? А про царицу Марью ты вовсе глупость несусветную сказанул. Кто же бабе престол государства даст? Никогда такого не было, да еще при живом Федоре, прямом законном Рюриковиче. Обмысли-ка хорошенько, сам узришь.

Богдан Яковлевич выдержал паузу и вопросительно посмотрел на Нагого, ожидая, что тот откликнется, но упрямец молчал, не желая согласиться с казалось бы очевидным. Уж очень тяжело было признавать правоту хозяина дома и тем самым отказываться от своих замыслов, великих и в то же время безумных в своем величии.

– А ежели я вместях с родным дядей Федора буду, с Никитой Романовичем Юрьевым³², кой тоже царем покойным в советчики и блюстители державы назначен, то, глядишь, устою. Захарьин-то ведь такой же, из худородных. Стало быть, прямой резон нам друг за дружку

³¹ Юрий Димитриевич (1374 – 1434), второй сын Димитрия Донского. После смерти своего старшего брата великого князя Василия I (1389 – 1425) отказался признать старшинство его сына – своего племянника Василия II Темного (1425 – 1462, с перерывами в 1433, 1434), ссылаясь на лествичное право, по которому права на княжение передавались от брата к брату. Дважды отнимал у Василия престол. Умер в Москве, будучи великим князем и передав великое княжение своему старшему сыну Василию Косому.

³² Имеется в виду родной брат первой жены царя Анастасии Романовны, он же отец Федора, назначенного впоследствии Лжедмитрием II патриархом, и он же дед будущего царя Михаила – первого из этой династии. Худородный же, потому что в те времена по-настоящему знатными и родовитыми считались те, чьи корни шли от потомков Рюрика, как, например, Шуйские, или от потомков великого литовского князя Гедимина (Мстиславские). Возвышение же рода Захарьиных или, как они стали именоваться позже (по имени деда царицы Анастасии), Захарьины-Юрьевы, произошло немногим ранее возвышения рода Годуновых и точно по такой же причине – родство с царским родом.

держаться. Как-никак нас двое и земских двое – ишо поглядим, чья возьмет. Да прибавь к нам Бориса Федоровича, кой хучь и назначен в опекуны к царю, зато в сестрах ночную кукушку имеет, коя дневную завсегда перекукует. Так что опаска твоя напрасна буде, а то, что ты затеял, Афанасий Федорович, пустое.

Нагой шумно вздохнул и встал:

– Сие твое последнее слово буде, Богдан Яковлевич, аль еще что на уме имеешь?

– Да, последнее, – кратко, но решительно ответил Вельский. – То, что Федор разумом не богат, не велика беда. Вдругорядь важно не то, что у царя в главе венценосной, а то, что у советников его прилежных на уме. Али ты в нас с Мстиславскими, да с Юрьевыми, да с Шуйскими усомнился? Напрасно, напрасно. Так что не пособник я тебе в делах твоих. Мешать не стану, но подсоблять – уволь. А лучше бы ты сам все как следует взвесил да не спешил голову на плаху примасивать. Охолонь малость. Тебе и впрямь ее в бадейку лучше сунуть, чтоб остыла.

– Ну что же, быть посему, – уже с порога ответил Нагой, – да только зря ты в такой великой надежде пребываешь. Так что не мне впору, а тебе в бадью с водой влезть, чтоб и в мыслях несбыточное не витало. Дмитрия и Рюриковичи с Гедеминовичами тронуть не посмеют, разве что подалее от всех, в вотчину свою, в Углич, отправят, чтоб глаза не мозолил. А тебе похужее придется.

– Вместях нам хужее будет, – несколько озадаченный неожиданным поворотом беседы, нерешительно отвечал Вельский.

– Знамо, вместях. Только тому, кому сам Иоанн своего меньшого сынка поручил, хуже, чем прочим, придется, поелику у них перед тобой страху поболее будет, нежели чем предо мной и прочими. Уразумей, – и Нагой почти насмешливо глянул на Вельского, но потом, тяжело вздохнув, добавил: – Жаль, что когда сие до тебя дойдет, то поздно уже будет. – И вышел, хлопнув дверью.

Вельский с минуту стоял задумчиво, стараясь осмыслить сказанное напоследки Нагим, потом встрепенулся, будто очнувшись, и задумчиво сказал вдогонку Афанасию, точно тот еще мог его услышать:

– То ли ты злобишься понапрасну, то ли...

Не договорив, он, опустив голову, несколько раз прошелся неторопливо в своих мягких, алого сафьяна, сапожках по светлице и, остановившись наконец, поднял глаза, уставившись, как показалось Онисиму, через дырку прямо на холопа.

– Да нет, напраслина все это. И думать нечего. А коли тот петушок и вправду кукарекнуть удумает – мы ему живо крылышки оттяпаем. – И подмигнул Онисиму.

Тот отпрянул от дыры, аккуратно и быстро вставил брус на место и вытер внезапно вспотевшие руки о холщовые штаны.

«Пора и к Шептуну, пока из головы не выскочило все». – И Онисим решительно направился на свидание с годуновским слухачом.

Почему Шептун был на службе именно у Годунова, Онисим понял перед одной из встреч. Он просто обратил внимание, что за беседы Вельского с тем или иным боярином Федька платил немного больше, если речь касалась интриг против Бориса, а вкупе с ним и против царевича Федора или Ирины.

Как всегда, Шептун ошивался в Китай-городе, аккуратно на базарной площади, где отчаянно торговался с каким-то мужиком по поводу воза с сеном. Казалось, его ничем нельзя было отвлечь от этого, но едва Федор своим бегающим взглядом наткнулся на Онисима, как потерял всякий интерес к сделке и, отмахнувшись от вскочившего было с телеги вслед за уходящим возможным покупателем мужика, пошел прочь от гудящей, как пчелиный улей в пору цветения, базарной толчеи.

Онисим поравнялся с ним на ходу и громко, чтобы все услышали, спросил:

– А мою репу не купишь, боярин? А то, можа, сторгуемся.

– Она же еще не выросла, дурак, – вполголоса буркнул Федька, поморщившись от крика бельского холопа, но, впрочем, так же громко ответил:

– Некогда, некогда. Иди, вон, другому дурню предложи.

– Ядреная репа, как на подбор. Одна к одной. С зимы осталась, дай, думаю, хорошему человеку запродам – ему на радость, а себе в убыток, – в том же духе, чуть ли не крича, продолжал Онисим.

– Ну пойдем, поглядим на твою репу, а то ж ты не отцепишься, – продолжил игру Шептун и, когда они завернули за угол, где никого не было, бросил:

– Ну, чего там у тебя? Выкладывай!

Когда Онисим закончил выкладывать из закровов своей памяти все, что не забылось, Федька оторопело пошлепал-почмокал своими жирными, будто его только от куска свинины оторвали, губами и заметил:

– Бреешь, поди. Наплел чего не было.

– Истинный крест, – и Онисим в подтверждение правильности своих слов истово, размашисто перекрестился.

– Ну ладно. На, за верную службу, – Федька небрежно сунул ошалевшему от такой неожиданной удачи Онисиму туго набитый мешочек, в котором, судя по тяжести, было не менее десятка алтын³³.

«Ежели так дело далее пойдет, скоро и в деревню можно собираться да хозяйствовать», – размечтался было он, но услышал сердитый голос Шептуна, выведший его из радостных дум:

– Ты вот что. Не вздумай удрать куда-нибудь из Москвы. Нужен ты мне сейчас. Да и деньги я тебе дал не токмо за труд твой усердный, но и задатком на будущее. Их еще обрабатывать надо.

– Ас боярином моим как же будет, а?

Шептун внимательно, будто впервые увидел, заглянул в лицо Онисима. В первый раз холоп такие вопросы задавал.

– Ненавидишь его? – спросил Шептун, проникая глазами-буравчиками, казалось, в самую душу. – Любо мне это. Хвалю. – И усмехнулся: – Не печалься. Ты свое дело, знай, делай. Недолго уж. – Он хотел было еще что-то сказать, но развернулся и пошел дальше, оставив Онисима наедине с мешочком денег.

³³ Алтын – старинная русская денежная единица, спустя век – название монеты. Термин происходит от татарского слова «алты» – шесть и возник на Руси одновременно с появлением в обращении монеты денги (в 1 рубле – 200 денег) в последних десятилетиях XIV века. В 1534 году, когда в Российском государстве появилась вдвое тяжелее денги монета копейка, на алтын стало уходить три копейки. Чеканился из меди. Термин дошел до нашего времени. Еще в XX веке пятнадцатикопечную монету в СССР иногда неофициально называли пятиалтынным.

Глава III КОРОТКОЕ ДЕТСТВО

А детство у Ванятки меньшого, как иногда называла его ласково мать, памятуя о брате и о том, что князя залетного тоже величали Иваном, выдалось хоть и короткое, как летний дождик, зато веселое, ежели его не путать с бездельем.

Непоседе хватало времени и на веселые игрища с дружками-приятелями, и на то, чтобы подсобить матери. Ей он завсегда помогал в охотку, не считая за труд всевозможные дела, ибо имела она к сердцу его тайный ключик и похвалой да лаской добивалась того, что от этого труда Ванятка наливался гордостью да душевной силой. Как же, помощник, без коего маманя никуда. Не будь его, и пропала бы она вовсе.

А по вечерам любил Ванятка бегать в соседнюю избу да слушать старого, седого как лунь деда Пахома. Много повидал старик на веку своем. Начинал с того, как служил он в войске князя Василия III, хотя самого и не видел ни разу, потому как нес службу в сторожевых заставах, да и их-то, по сути дела, еще не было, а так, дозоры.

Но случилась как-то раз беда – недоглядели они и попались в полон к татарам. Далеко на юге продали его купцу на большую ладью, и пять лет он там просидел на веслах, пока однажды не приглянулся молодой красивой италийке. Как сейчас он помнит этот чудной град, где от дома до дома надо было добираться на лодке – иначе никак.

Но и тут ему судьба подставила подножку. Любила италийка его крепко, и как знать – куда бы все обернулось, но в скором времени девушка скончалась от страшной болезни. И пошел Пахом на Русь. Много всяких стран довелось ему повидать, а будучи уже почти дома, в граде Коломне, совсем уж было загостился он в одном из монастырей.

Там и грамоту постиг, и даже писать-считать монахи его научили. Начал он потихоньку-полегоньку, а через три года чел бойко и разумел всякую цифирю, и стал разъезжать с монастырским товаром по разным городам да торговать деньгу.

И все было хорошо, пока окаянное татаровье сызнова не прихватило его в ста верстах от Коломны, когда он уже возвращался обратно. И мошну с деньгой отняли, да и сам насили ушел.

Назад в Коломну возвращаться – в поруб посадят, не поверят, что не виновен он, к тому ж из всего торгового поезда судьба лишь одному ему улыбнулась. И шагал Пахом куда глаза глядят, пока не набрел на Рясск.

Может быть, передохнув зимой, он бы двинулся и дальше, да пошел слух, что ищут его монахи, уверовав, что он взаправду сбег с тугой мошной. Тогда старик и порешил, что в таком граде, как Рясск, затеряться легче. Да и дело ему нашлось – грамотеев на Руси в ту пору было по пальцам перечесть: то грамотку какую отписать, то еще что, а зимой обучал азам соседских ребятишек – дело-то полезное, а значит, и Богу угодное.

Только про Коломну да про монахов он одному Ивашке и сказывал, когда они весной ходили по лесу в поисках трав и кореньев для врачевания. Уж очень старику пришелся по душе бойкий смышленный мальчонка, кой еще сызмальства умел внимательно слушать, не перебивая. И даже ежели речь заходила про чудное: то ли про турецкие гаремы с десятками жен, то ли про страны жаркие, где и зимой снега нет, а всюду бродят черные как смоль люди – Ивашка верил беспрекословно.

Лишь позднее, через день-два, он осторожно возвращал деда к тому разговору и пытался выведать, почему сие так, а не эдак, да отчего такая странность бывает в мире.

А уж как грамоту Ивашка постигал, так тут ему и вовсе равных не было. «Четьиминеи», кои нашли в торбе у рассеченного саблей татарина – тот после набега вез в Крым

добычу, – мальчонка знал назубок, славно ведал и цифирь, да и в лечебных травах, кои ему показывал в лесу дед, разбираться научился отменно.

«И всего-то семи лет от роду, – дивился старый Пахом, – а вот поди ж ты, смышленный какой».

Спервоначалу полагалось внести за учебу малую плату: мукой али еще чем съестным, дабы деду хватило на пропитание, и Марфа, желая, чтобы дите ее было не хуже других, узнав, что Ивашка уже второй месяц как втихомолку бегаёт к деду, понесла было Пахому золотой тяжелый перстень с крупным лалом в сердцевине. Повертел старик в руках этот перстень да и вернул назад.

– На что он мне, старому. Красоваться не перед кем. А ежели вздерну на палец, дак помыслят, что я, аки тать ношной, украл его где-то. Так что ни к чему он. Да и малец твой мне не в тягость, а в радость. Хоть и недолго ходит, да поумней прочих будет и смышлен не по годам. Пущай уж учеба моим подарком ему станет.

Расплакалась Марфа на радостях, что и перстень остался, и мальчонку от ученья не отъяли, а пуще от материнской гордости, что сын ее умнее всех прочих, поклонилась старику в ноги за добрые слова да и подалась назад, к своему убогому домишке, поднятому стараниями ее добрых соседей. Не все пост, есть и Масленица – ив сердце у нее соловьи свистали.

Оно ведь каждая мать в душе свое чадо наилучшим считает, но одно дело – сама, и совсем другое – когда скажет похвальное слово сторонний человек. Последнее звучит как-то увесистее, ибо молвлено без пристрастия к родимой крови, а стало быть, истинная правда.

Так и дожил Ивашка до семи годков. Когда шалил, когда у матери в помощниках трудился в силу лет своих малых, а когда грамоту познавал с усердием. Шустрым мальцом он был и все успевал – даже хаживать к кузнецу на соседскую улицу и приглядываться к его работе, жаждавшая всерьез заняться каким-нибудь делом, да поскорее, чтобы дать матери маломальский отдых от тяжких трудов.

А может, и не так заворожили его кузнечные мехи, как маленькая Полюшка, дочка кузнеца. Вроде и красы особой не было, и сама худенькая, да и годы их не те, чтоб любовь зародилась, а вот поди ж ты, запала она ему в душу, да и все тут. И всякий раз, завидев ее, Ивашка, бросая все дела, стремглав летел к кузне, стараясь оказать ее отцу – вечно хмурому малоразговорчивому ковалю – хоть какую-нибудь помощь.

При виде девчушки, которая всегда приносила батюшке полдник, у Ивашки становилось так спокойно на сердце, что ничего уж, казалось, больше и не нужно. Часами мог он так стоять, украдкой глядя на нее и ничего не замечая вокруг себя.

Как-то раз кузнец приметил это, потом еще и еще, а как додумался, куда рвется Ивашкин взгляд, будто хочет сказать какое-то сокровенное слово, робко выглядывающее из самых глубин детского сердчишка, поначалу рассмеялся от души, а потом, призадумавшись, буркнул себе в русую бороду:

– Диковина. Не встречал доньне я такого, – но смолчал и угаданный секрет выдавать никому не стал.

А встретить такое ему и впрямь было негде. Не град Рясск – крепость. Оборону держал изо дня в день, из года в год. Был он как шелом на главе Переяславля-Рязанского, бороня его от неожиданных татарских ударов. Коли малая ватага южных разбойников пожаловала – самим отбить, коль большая – хоть малость, а сдержат, дабы успеть гонцов послать к соседям. А коль и у тех никоей помочи не найдется о ту пору, то хучь упредить, дабы готовы были.

Таков и люд там был. Больше всего в нем проживало воев – людишек суровых, всей жизнью да службишкой нелегкой приученных к тому, что ныне жив, а о завтра не думай, ибо коли помыслишь, то и сегодня жить не пожелаешь – потому как одному богу известно, когда ты свою буйну головушку сложишь. Как знать, подступят татаровья ратиться, ан глядь, и сгинула она в одночасье.

Отсюда и известная грубость в чувствах, когда глаголили мало, а попусту и вовсе баек сказывать не любили. К тому ж любовь – она в пустые речи входила, посему о ней никто особливо и не рек допреж сватовства.

Сватались и к Марфе, да все неудачно. Лишь раз она чуть согласьем не ответила, уж больно ей жалко было воя, чья семья вымерла от болезни еще за десять годков до того, да тут, как на грех, она прихворнула малость. Думала – само пройдет. Ан не тут-то было – уж очень злой оказалась простуда. Так и умерла в одночасье, даже не дождавшись весны.

Не помогли ей ни травы старого Пахома, ни жалобный сыновний плач. И осиротел Ивашка. Добрые соседи помогли и с домовиной, и собрали помянуть покойницу кто сколь мог. Старик Пахом рад был бы мальчонку к себе взять, да вот беда – у самого своего угла нетути.

Однако мир не без добрых людей, и на второй день после похорон зашел на подворье кузнец. Нерешительно кашлянув, он сказал Ивашке:

– Тут вот такое дело. Стар я стал. Помощник мне нужен крепкий. Словом... пойдешь ко мне жить?

Растерялся мальчонка:

– А изба как же?

Ивашка бы и рад поближе к Полюшке, в один дом с ней – счастье само в руку валит, а с другой стороны ежели поглядеть – неловко как-то домишко бросать. Худо ли, бедно ли, но семь годков в нем прожито, каждый угол память о родной матушке сохраняет, которая здесь все наживала. Память же просто так не бросишь, не выкинешь. А если и сумеешь, то грош тебе цена как человеку. И как тут быть?

К тому же неудобно. Сколь перед самим собой ни хитри, сколь ни юли, а все получается, что в примачи подался. Да и Полюшка как на него посмотрит, коли он сам этим переходом в своей голимой бедности сознается?

– Продадим, – буркнул кузнец и, заметив, как сразу насупился мальчишка, вмиг поправился: – А можно и просто заколотить. На время.

И, уже присев рядом с ним на порог, добавил:

– Не век же тебе одному в бобылях ходить. Женишься когда-нибудь. Куда невесту вести, ан глядь – и домишко есть, пусть неказистый, зато свой.

«Женишься...»

Ивашка представил себе милую маленькую Полюшку с босыми ногами в простеньком сарафанчике, смущенно моргающую своими синими глазками, нижние реснички у которых по длине были, почитай, как верхние, чему Ивашка немало дивился при первой встрече.

Те реснички девчоночьи для него как стрелы были, что разом его в сердчишко укололи сладостно. Именно они первую искорку любви и высекли. Она ведь, первая-то любовь, взаправду самая чистая, ибо нет в ней ни плотской страсти, ни греховных помыслов. Чиста, как первый снег, и надо-то ей всего ничего – красой бы полюбоваться, да руки, словно невзначай, коснуться, да нежную улыбку на лице узреть. А еще коли надо, то жизнь свою отдать, положив ее к стопам ненаглядной, как древний язычник жертву для богини.

Тут Ивашка всю разметался. Даже смерть родной матери, что комком у сердца стояла, отошла тихонько. Это ж как хорошо будет, когда заживут они в его собственном Ивашкином доме! А он для нее что хошь, на все руки. Но тут в его мечтания опять бесцеремонно влез голос кузнеца:

– Ценного авось ничего нет, брать нечего. Я дверь заколочу, да и все.

– Как это нету, ан есть! – И Ивашка горделиво вынул прятанный на тонкой бечевке под рубахой массивный золотой перстень.

Кузнец настороженно повертел его в руках:

– Да, такой в моей кузне не откуешь. Откуда ж он у тебя?

– Маманя дала перед смертью. Сказала, что отец мой в Москве живет и, коли худо станет, чтоб по перстню нашел.

– А разве она не вдова? – оторопело почесал затылок кузнец.

Марфа никогда не рассказывала о своем прошлом житье-бытье, дабы не врать без нужды, просто люди сами домыслили, что раз дитя на руках, значит, муж вместе со всеми был, да сгинул. А Марфа на всякие домыслы предпочитала не откликаться вовсе – не поддакивала, но и ничего не отвергала.

– Ну ладно, вещь эту блюди в аккуратности, цена у ей большая, а теперя будя лясы точить – работа стоит. – Кузнец крепко взял парнишку за руку и повел к своей кузне.

Близ нее уже крутилась Полюшка, ковыряясь на пустыре с какой-то щепкой в руках. Увидев Ивашку, она поспешно встала и бросилась к отцу.

– Ну-ка, кто это? – И кузнец указал на оробевшего сразу мальчугана.

– Ивашка, – робко вымолвила девочка и сразу, вспыхнув, как кумач, уставилась на свои босые пальцы ног.

– Не Ивашка, а Иван. Помощник мой. И жить теперь с нами будет. Ты-то как? Согласна?

У Поли впервые спрашивали совета, как у равной, да еще в таком щекотливом деле, но она с честью сумела выйти из затруднительного положения.

– Я что ж. Пущай живет. Дом, чай, большой, на всех хватит, – рассудительно ответила она, опустив глаза, чтобы, чего доброго, не увидел кто их радостного света.

– Вот и я так мыслю, – спокойно согласился с нею кузнец и хмыкнул загадочно.

Первый месяц на новом месте для Ивашки пролетел как день. Только по ночам он иногда просыпался. Не от холода – русская печка, на которой он спал вместиях с Полей, тепла давала в избытке. Тут иное – тоска его одолевала. Навалится в предрассветный час зверем грузным, ухватит за горло до боли и жмет нещадно, слезу вышибая. Лежа на полатах, он все вспоминал родную маманю. Вспоминал и горестно плакал, зарывшись в тулуп, на котором они лежали бок о бок с Полюшкой.

Плакал тихонечко, сдерживаясь изо всех детских сил, да, вишь, такое горе, как смерть матери, и взрослому человеку порой осилить невмочь, а тут дитя совсем. Но на людях днем, сколь усилий хватало, держался, слабины не допускал.

Ночь же – иное дело, да и тут слезы лились беззвучно, и голоса он старался не подавать, чтоб не разбудить девочку. Да и не мужское это дело – бабьими слезами заливаться. И казалось ему в эти минуты, что он так одинок на всем белом свете, что аж озноб его охватывал. Нелегкая это доля – с малых лет в сиротах быть.

Только однажды почувствовал он, как маленькая детская ручка осторожно гладит его по спине, и услышал шепот:

– Ты не плакай так шибко. – Бедной девочке очень хотелось хоть как-то утешить Ивашку, и она решилась пойти даже на такую жертву, как представить будущую смерть своих родителей. – Моих вон тоже когда-нибудь не будет, оно ведь так у всех бывает.

Но тут мысль об их неизбежной кончине так ее ужаснула, что и сама Полюшка залилась навзрыд, уткнувшись в домотканую Ивашкину рубаху и хлюпая своим маленьким носиком.

И уже Ивашке пришлось ее утешать и успокаивать, испытывая огромную благодарность за столь искреннее сострадание его судьбе. Не зная, как выразить свои чувства словами, неуклюже ляпнул:

– Чего ты? Они ж живы еще. – И почуяв, что сказал что-то не то, торопливо добавил: – Да они у тебя еще долго жить будут, чай, молодые совсем. А ежели болесь кака, так мне дедушка Пахом всякие травы да коренья показал, я их и вылечу.

Плач девочки утих. И чтобы хоть как-то отблагодарить за поддержку сердечную, Ивашка добавил:

– И грамоте тебя выучу. Читать, и цифири всякой.

Только вот обещание свое сдержать ему не удалось, потому как через пяток-другой дней Полюшка захворала. Правда, травы да коренья, кои принес старый Пахом, и впрямь помогли ей вскорости встать на ноги. А чтобы девочка окончательно окрепла, пошли они с Пахомом в погожий майский день за целебными снадобьями.

Их собирать – целая наука. К примеру, отвар корней девясила хорош при простуде, но его выкапывать рано. Раньше сентября нет в нем настоящей силы. Да и у белокопытника то же самое. Синеголовнику тоже лишь в августе время наступит. И даже для листьев дурмана вонького время еще не пришло. Оно только в июле начнется.

А с иным уже поздно. Почки сосны месяц назад собирать надо было – в конце апреля, не позже, да и то если весна припозднится.

Зато анютины глазки в самой поре. А еще аистник, что на полях растет, кукушкин цвет – его поближе к реке Хупте искать надо, на заливных лугах. К самой реке тоже не грех спуститься – там паслен в прибрежных кустиках прячется, да еще первоцвет.

Там же, рядом с Хуптой, в Малиновом вражке – мать-и-мачеха. За тысячелистником и вовсе ходить далеко не надо. Он и около жилья встретиться может. Но его, главное, с иным не спутать, что покрупнее малость, потому как от разных они болезней.

Схожих вообще много. Хорошо, дедушка Пахом научил Ивашку разбираться да отличать. Умно учил, по-простому, но доходчиво.

– Ежели ромашку увидишь, то понюхай вначале. Не пахнет, стало быть – непригодна она для лекарского дела. От настоящей сильный запах идет. И на лапчатку тоже позорчей смотри. У нее пять лепестков должно быть, а ежели четыре, то это уже калган-травой прозывается. У той лишь корни хороши, чтоб нутро лечить, но их опять-таки по осени собирать надобно.

– А вот ты сказывал, дедушко, что есть медвежье ухо, а еще медвежье ушко. Они-то чем отличаются? – торопится Ивашка с вопросами, чтоб успеть на все ответ получить.

– У уха только венчики цветков в дело идут, – степенно поясняет старик. – Да и то время для них еще не пришло. А ушко, оно на бруснику похоже, так что не спутаешь. Но с ним мы тоже припозднились. Его листья в апреле собирать надо. Вот тогда как раз и время.

– Нешто в апреле у него листья уже есть? – сомневается Ивашка.

– А мы бы прошлогодних набрали, – степенно поясняет Пахом.

– А сейчас что? Они ж никуда не делись, – недоумевает мальчик.

– Нарвать-то их можно, но они теперь при сушке почернеют непременно, – улыбается старик. – Вот мы до лесочка сейчас дойдем, а там уж я тебе их покажу.

Еще в лес зайти не успели, как старый Пахом вновь Ивашку к себе кличет и опять умуразуму наставляет:

– Что зришь пред собой на опушке?

– Крапива, – неуверенно отвечает мальчик. – Только она какая-то ненастоящая.

– Верно, не настоящая. Потому как и не крапива это вовсе, а яснотка. Хотя за то, что у них так листья схожи, ее в народе иной раз глухой крапивой кличут. А рядышком – кровохлебка. У нее тоже корешки знатные, но опять-таки осенью. А запах-то какой, чуешь? – с наслаждением втягивает старик в себя воздух.

– Ага, – неуверенно поддакивает Ивашка, угрюмо думая – поди разбери, какой именно чувствовать надо, уж больно они смешались.

– Липа впереди, – мечтательно говорит Пахом. – Славное дерево. И кора у него хороша, и сама она на все поделки отзывается, а для Полюшки она ныне с нами цветками поделится. – И кивает помощнику на дерево: – Давай.

Целый час трудился Ивашка, но нарвал на совесть. Много теперь у них липового цвета – не на одну Полюшку хватит. Пока спустился, ан глядь, а старик к дереву притулился и дремлет себе потихоньку. Постоял в раздумье – жалко будить дедушку. Рядышком присел

в ожидании и тоже задремал. Да что задремал – уснул сладко. Проснулся от того, что его Пахом за плечо трясет, мол, пора подниматься.

– Ну, еще немного пройдем, до болотца, а там и назад повернем, – вздохнул он устало. – Осталось нам копытень разыскать да еще багульника накопать, пока он цветет.

В обратный путь двинулись, когда солнышко уже стало клониться книзу. Едва выглянули из леса, как Пахом вдруг остановился, застыл на месте как вкопанный.

– Ну-ка глянь, никак зарево красное, внучек. – Он уже Ивашку вовсе за родного считал, коли своих господь не дал – так прикипел к нему своим одиноким сердцем.

– То солнышко садится, дедуня.

– А дым почто? У меня глаза хошь и стариковские, но вдаях я лучшей тебя вижу. Глякось, дымины-то на полнеба.

Мальчик присмотрелся и увидел со стороны города красное зарево. На пригорке же показались странные всадники. Вроде бы ничем они от своих не отличимы, а все ж таки чувствовалось в осанке, манере сидеть и прочем что-то чужое, вовсе инородное.

– Татаровья, – упавшим голосом прошептал старик. – Бежим, внучек, в лес. Там схоронимся.

Но у татар глаза были не хуже, чем у деда. Всадники тоже их заметили и с гиканьем и гортанными криками уже направили к ним своих коней.

– Быстрее, быстрее! – крикнул Пахом Ивашке. Мальчик хоть и не понимал еще всей опасности, нависшей над его безмятежным существованием, но встревоженный вид спокойного обычно деда так напугал его, что он опрометью бросился назад, в лесную чащу. Но вот беда – лес в этих местах рос привольно и раскидисто, не переходя в спасительную глухую чащобу, где не то что конному – пешему зачастую не пройти.

Голоса сзади становились все слышнее, когда старый и малый, окончательно выбившись из сил, вышли к старому болоту, возле которого они в полдень собирали травы.

Глава IV НЕЧИСТЬ

– Стой! – встревоженно крикнул Пахом мальчику, останавливая Ивашку, который вознамерился было идти дальше. – Ты не гляди, что оно такое мирное. Тут с опаской надо. Ну-ка, погоди.

Он прислушался, после чего неуверенно произнес:

– Кажись, сбились со следа.

Голоса и впрямь были не слышны. Пахом нерешительно почесал в затылке, затем со вздохом сказал:

– Нет, все равно далее уходить надобно. Ты обожди, а я сейчас жердины сыщу.

Он отправился на поиски жердей, а Ивашка в это время задумчиво продолжал разглядывать болото.

Внешне оно выглядело достаточно мирно и даже, если только так можно выразиться, почти добродушно. Изрядно заросшее травой и осокой, оно производило обманчивое впечатление немощного старца, который был в юности кровожаден и жесток, но по причине дряхлости давно лишился всех своих зубов и потому оставил все свои попытки пакостить людям и доживал остаток лет, пребывая в вечно дремотном состоянии.

Однако не зря и в самом Ряске, равно как и в небольших близлежащих деревушках, его именовали Мертвым. На самом деле оно и сейчас представляло собой постаревшего, но по-прежнему неумолимого злобного разбойника, терпеливо сидящего в засаде и ожидающего своего часа.

Немало лесной живности погубило оно на своем долгом веку, а уж людей и вовсе не сосчитать. Года не проходило, чтобы кто-нибудь не исчезал бесследно в его окрестностях.

Ходили сумрачные слухи, что когда близ него оказывался путник, то, откуда ни возьми, выходил ему навстречу невысокого роста старенький монах в рясе, перетянутой простой веревочкой, и с желтоватого цвета широким одутлым лицом. Был он благостен, а от его седых волос веяло покоем и умиротворением.

Такому святому человеку, давшему обет служить богу в столь глухих местах, грешно не поверить, особенно когда перед тобой раскинулось на много верст вширь чуждая враждебная стихия и очень не хочется пускаться в длительный обход. И верили. И шли за ним след в след, как он и говорил.

А через полверсты монах оборачивался к путнику и показывал... свое подлинное лицо. Было оно настолько ужасно, что человек либо сразу умирал – если сердцем слаб, либо бросался бежать куда глаза глядят и почти тут же со всего маху проваливался в податливую вязкую глубь.

И еще хорошо, если погружался в нее сразу с головой. Гораздо хуже, если только по пояс и имел время наблюдать, как неспешно, нарочито медленным шагом, приближается к нему этот страшный старик, который на самом деле был не монахом, а подлинным хозяином этих мест – болотняником.

Вот такие страшилки рассказывали зловещим шепотом в Ряске на святочных посиделках. Обычно ребятишек допускали на них неохотно, но Ивашке как-то удавалось прошмыгнуть, и, лежа на полатах, он слушал и зажимал себе рот от ужаса, но все равно молчал, чтоб никто не услышал и не вытурил из избы.

Теперь все эти рассказы мгновенно всплыли в его памяти. Только там, в теплой избе, где полно народу, все, что говорилось, воспринималось не так остро, как сейчас, когда он стоял у начала гигантского болота, которому, казалось, не было ни конца ни края. Впереди,

насколько было видно глазу, расстилалась безбрежная унылая пустошь. Внутри нее кипела загадочная жизнь, отчего вся она, не останавливаясь ни на секунду, угрюмо колыхалась.

Во многих местах унылость слегка оживлялась обманчивой растительностью неестественно яркого ядовито-зеленого цвета. Это была отравленная приманка для неосторожных. Слишком непростая, чтобы удержать на себе хотя бы ребенка, она завлекала, чтобы убить любого, кто осмелится ступить на нее. В других местах болото откровенно угрожало путникам, бесстыдно выставив напоказ открытые окна черной зловонной воды.

Легкие порывы ветра время от времени доносили до Ивашки невыносимую вонь, словно где-то невдалеке разлагался покойник. А над самим болотом неспешно тянулись вверх извивающиеся белесые сгустки болезненных испарений, напоминающие всем своим видом огромных мерзких червей.

Тонко звеневшие над его головой назойливые комары, как это ни странно, даже чуточку добавляли оптимизма, поскольку были единственной живностью, которая еще не покинула окрестности Мертвого болота.

Пахом появился незаметно. В руках он держал большие, чуть ли не в две сажени каждая, жердины.

– Вот теперь можно и далее двигаться, – сказал он, вручая ту, что была немного потоньше, Ивашке. – А может... – Он, не договорив, вновь прислушался.

Голоса татар были слышны уже отчетливо.

– Нет, не переждем мы тут, – обреченно вздохнул старик. – Придется идти.

Они уже были готовы к тому, чтобы окунуться в зловонную мертвую жижу – водой это тухлое месиво из умерших листьев, трав и коряг назвать не поворачивался язык, – как вдруг справа возник низенький старый мужичок в черной рясе с седой шевелюрой и желтоватым широким лицом. Ни Пахом, ни Ивашка так и не поняли – откуда он появился. То ли шел за ними по пятам, а тут нагнал, то ли прятался за каким-то деревцем, то ли вынырнул из самого болота.

– Обожди-ка, мил человек, – окликнул он Пахома. – Тута ходить негоже. Сгинешь чрез три сажени. Пойдем-ка, я вас получше проведу. Мне оные места знакомы.

С этими словами он круто развернулся и пошел вправо.

– Проведешь... или заведешь? – Даже не подумал двигаться с места Пахом, и его правая рука, сложенная в двоеперстие, уже поднялась вверх, чтобы перекрестить невесть откуда появившегося в этих мрачных местах подозрительного монаха.

– Да ты никак меня с нечистью спутал? – Круто развернувшись на месте, мужичок добродушно улыбнулся. – Экий ты боягуз. А забыл ты, старый, как подсобил о прошлую осень моей бабе, – лукаво усмехнулся он, с прищуркой глядя на Пахома.

– Погоди, погоди, – наморщил лоб старик. – Так это, выходит, ты женат на той девахе, что с Подвисловского выселка? Как же ее? Феклуша, кажись?

– Точно, Феклуша! – спокойно кивнул головой мужичок. – Она уж три лета как женой мне доводится. А я завсегда добро помню. Так что не сумлевайся – доведу в лучшем виде. Глубже, чем по пояс, нигде не будет. И выкинь из главы то, о чем помыслил. Я просто оби-жусь да к себе уйду, а вы бултыхайтесь тут сами, – и он предостерегающе ткнул пальцем в болото.

Палец, как показалось Ивашке, был неестественно длинным, тонким и имел какой-то неприятный зеленоватый оттенок. По коже побежали мурашки. Мальчик пригляделся и... облегченно вздохнул – показалось.

Пахом стоял в растерянности, явно не зная, как поступить. Но тут где-то недалеко зали-висто заржала татарская лошадь и, почти рядом, еще одна.

– Торопись, – предупредил мужик. – Иначе я один пойду, а ты как знаешь. Тогда смотри сам. Догонят – не пощадят.

– Веди, – решил наконец старик.

– Но чтоб как ранее сам мальчика своего упреждал – след в след, – предостерегающе заметил проводник и пояснил, успокаивая: – По заветной тропке поведу, а она дюже узкая.

Идти пришлось долго – часа два. Однако мужик и впрямь не солгал – лишь в двух местах путники погружались в болотную жижу до пояса, а Ивашка по грудь, да и то продолжалось это недолго. Всю остальную дорогу они прошли где по колено, а где и вовсе по щиколотку.

Уже совсем стемнело, когда Пахом с Ивашкой оказались на сухом месте.

– Ну, вот и славно, – пробурчал мужик, удовлетворенно разглядывая уставших путешественников, повалившихся вповалку на сухую траву. – Теперь и мне, пожалуй, пора. Пойду я.

Когда Пахом повернулся к нему, мужика не было и в помине. Куда он делся, да еще так скоро, – непонятно. Исчез чуть ли не на глазах. Старик с мальчиком переглянулись, и каждый подумал о том, что...

Окончательно запутавшись, но так и ничего не решив, Пахом сгрэб большую кучу прошлогодней листвы и улегся поудобнее, справедливо полагая, что утро вечера мудренее. Однако едва ему удалось отогнать неприятные мысли, как тут встрял Ивашка.

– А ты женке-то его чем подсобил? – сонно поинтересовался мальчик, уютно пристроившийся рядом.

Не желая отвечать на столь щекотливый вопрос, старик притворился спящим и даже, для вящей убедительности, начал слегка похрапывать. Вроде подействовало. Однако сон к Пахому не шел.

К тому же он, как назло, только сейчас вспомнил, что Фекле ему, конечно, прошлой осенью подмогнуть удалось, вот только не та ли это девица, которая, как он слышал, утонула именно в этих местах, причем как раз три года тому назад. Тогда получалось, что... Словом, нехорошо получалось.

А может, все гораздо проще и на Подвисловском выселке проживают две Феклы? И какой же из них он помогал? Эх, надо было ему сказать, чтоб перекрестился, и тогда все стало бы на свои места. И ведь думал о том, но тут, как назло, заржали татарские кони, вот у него и выскочило все разом из головы.

Впрочем, можно было проделать это и потом, еще когда они брели по болоту. Взять украдкой, да и перекрестить его. Хотя нет, вот это было как раз чревато. Вдруг то и впрямь болотняник? Запросто мог обидеться и исчезнуть на самой середине своих владений, а так они с Ивашкой остались целыми и невредимыми. Или от нечисти грех принимать помощь, даже если ты ничего не обещаешь ей взамен? А как тогда быть? Помирать, что ли? Ну он-то ладно, а Ивашка? Младень ведь вовсе.

Старик покосился на спящего мальчика, невольно позавидовав безмятежности отрока, и вздохнул: «Ох, грехи, грехи!» Затем он беззвучно прочитал молитву, добавив в конце ее просьбу ко всевышнему не обрушивать на них свой небесный гнев, ежели что. Правда, что именно, старик на всякий случай уточнять не стал, благоразумно посчитав, что господь, чай, не маленький и сам все ведает. После чего Пахом окончательно успокоился и тоже уснул.

А затем, встав рано поутру, они пошли дальше, надеясь выйти на какую-нибудь деревушку, а еще лучше – к самому Переяславлю-Рязанскому. Там всего спокойнее.

Ивашка вначале упрямылся – уж очень хотелось ему обратно, ведь там и кузнец, и дочка его Полюшка, да и град родной, кой хоть и неказист, да ведь родину не за красу любят.

На своем-то месте даже воздух иной, а что уж там про небо говорить. Как в присказке – и дождь мокрее, и солнце в отчем краю ярче. Однако ж Пахому удалось уговорить Ивашку, что они, поступая так, не только сами переждут беду, но и сумеют остеречь воевод в Переяславле, чтоб те выслали рать на выручку родному граду. К тому же неизвестно, сколь времени надо обходить это болото, а напрямую через него идти...

– Ты же сам видал, какие кругаля мы выписывали, когда сюда шли, – спокойно заметил он. – А там ведь чуть отступишь, ошибись, промахнешь и – все. А так мы с тобой не просто возвратимся в Рясск, а в честях, яко спасители града, вместе с ратью.

Ивашка тут же представил, как он на белом коне во главе рати возвращается в свой город, с каким восторгом на него будет глядеть Полюшка, да и кузнец, завидев такое зрелище дивное, тоже, небось, крикнет одобрительно, а там...

Словом, двинулись они дальше.

Пригодились в дороге и познания Пахома во всяких травах и кореньях. То земляники пособирают, то на дикий лук наткнутся, то иной какой корешок съедят. Невелика еда, да много ли старому и малому надо. А вот ночевать приходилось не разводя огня, но не потому, что опасались погони, – нечем было его разводить.

Однако уже немало отмахали они, а все не могли выйти из леса. Точнее, выйдут иной раз на опушку, ан глядь, а сразу после небольшого поля, обступив его со всех сторон, вновь лес высится. И справа деревья, и слева, и прямо. Куда дальше идти – неведомо. Но – шли.

К утру девятого дня Пахом охнул и растерянно завертел головой.

– Вот куда нам сейчас идти? – тоскливо спросил он в перерывах между двумя приступами мучительного кашля, который все чаще начинал мучить старика, особенно по утрам. – Туда? – Он ткнул пальцем вправо от себя.

– А может, туда? – Палец Ивашки робко указал в противоположную сторону.

– А-у-у, – неожиданно раздалось слева.

– Люди, – обрадовался Пахом. – Ну наконец-то. Стало быть, прав ты оказался, Иван Иванович, – ласково улыбнулся он мальчику.

В ответ на похвалу Ивашка только покраснел, хотел пояснить, что ткнул пальцем просто так, но было не до того, тем более что из леса вновь донеслось призывное «ау-у», и оба, не сговариваясь, побежали в ту сторону, уже не обращая внимания на лезущие в глаза ветки деревьев.

Странное дело, крики раздавались не так уж и далеко, но едва удавалось достичь этого места, как призывное «ау-у» начинало удаляться, будто неизвестный голос куда-то манил их за собой. За ним они и шли. К концу дня наконец-то вышли на дорогу, по которой совсем недавно прошел обоз, – не успело даже остыть кострище, где ночевали проезжие люди.

– Дедуня, а кто же нас тогда в лесу звал, если никого рядом нет? – удивленно захлопал глазами Ивашка. – Али там еще один человек блукает? Можя, подсобить ему? Нас-то вывел, а сам, поди, пропадает. – И, не дожидаясь согласия Пахома, он вновь побрел по направлению к лесу.

Старик, немного постояв, нехотя двинулся следом. Однако сколько они ни звали, сколько ни кричали – все тщетно. Даже эха не было. Наконец Пахом сообразил и громко крикнул:

– Дедка леший, а дедка леший! А ведь это ты нас к дороге вывел?

– Вывел, вывел, – откликнулось невесть откуда эхо.

– Стало быть, это тебе мы должны поклониться? – подключился к Пахому радостный Ивашка.

– Поклониться, поклониться, – довольно подтвердило эхо.

– До земли!

– Да ладно уж, – неожиданно отозвалось эхо. Старик укоризненно посмотрел на мальчика.

– Негоже нечисти кланяться, – произнес он неуверенно.

– Ну и что! – после легкого колебания упрямо заметил Ивашка. – Раз подсобил, значит... Исполать тебе, дедушко. – И он отвесил в сторону леса низкий земной поклон.

В конце концов именно так его учила мама: «Ежели тебе добро содеяли – непременно отдарись в ответ. А коль не в силах – отблагодари словом, да спину согнуть не забудь – чай, не разломится».

Правда, всему этому она обучала, когда речь шла о людях, но разве добро, содеянное лучшим, стало хуже от того, что он нечисть?

Пахом было поднес два перста ко лбу, чтобы перекреститься, но на полпути спохватился. «А вот этого, наверное, не надо, – мысленно урезонил он сам себя. – Чего забижать понапрасну, когда они этого не любят».

И странное дело – произнес-то он это не то чтобы громко, а и вовсе про себя, но эхо каким-то образом услышало и вновь повторило его последние слова, да еще с явственно слышимыми недовольными интонациями в голосе, будто подтверждало:

– Не любят, не любят.

– А поклониться поклонюсь, – твердо и с легким вызовом неведомо к кому произнес Пахом и отвесил низкий земной поклон в сторону леса. – Все – твари божьи. И мы, и... они, – прошептал старик еле слышно, как бы оправдывая себя за этот знак уважения, оказанного нечисти, и, повернувшись к мальчику, бодро произнес: – Теперь уж недалеко осталось. Вон как дорога укатана. Пусть не нонче, но уж завтра она нас непременно к какому-нибудь жилью выведет.

Пахом как в воду глядел.

К вечеру следующего дня впереди и вправду показался здоровущий град, каких Ивашка за всю свою жизнь еще не видал. Что там Рясск со своей бревенчатой церквушкой да неказистыми домами, коих и было-то о ту пору с несколько десятков, не больше. Здесь и стены, казалось, до неба, и сам город такой необъятной величины, что у Ивашки с непривычки аж дыхание перехватило. Он молча ухватил Пахома за руку.

– Дедушка, а это что? – шепотом спросил.

– Думаю, однако, Переяславль-Рязанский. Слава тебе господи, дошли.

Он тут же опустился на колени перед блистающими в последних солнечных лучах заката куполами церковей, что высились из-за стен, и принялся молиться. В первую очередь благодарил он небеса не за то, что они не допустили их лютой смертушки и уберегли от зверя лютого, татаровья окаянного да людей разбойных, но за то, что младенца, не по годам разумного, сиротинку горемычного защитили они своей великой и милосердной властью.

Молился рядом с ним и Ивашка. Только не за себя и не за Пахома, а за маленькую девочку, которая осталась в охваченном пожаром городе, да за доброго кузнеца, что взял к себе Ивашку, чтоб живы они остались. Ну и чтоб сподобил им господь встретиться, да побыстрее.

Сбудется ли молитва твоя, юный отрок, долетит ли она до бога? Кто знает... Да и вообще, все ли он слышит? Над этим тогда еще никто не задумывался – грех тяжкий в подобное сомнение впадать, ересь величайшая. Без бога в душе все равно что без царя на земле – как жить?

Однако упреждение их маленько припозднилось. Ведали уже в Переяславле о налете татарском и даже выслали рать. Не довелось Ивашке въехать на белом коне в родимый град, не сбылась тайная мечта. Но это все полбеда. А вовсе худо мальцу стало, когда возвратились вой, принесся убийственные вести: и Рясск в развале весь, только пепелище чернеет, и жителей его – кого татаровье порубило, кого в полон увело. Догнать же, чтоб отбить, не сумели – далеко ушли басурмане. Как ни гнали коней по степи, все равно не настигли. Если бы еще пару-тройку дней – может, и удалось бы их достать, но с малым отрядом так далеко углубляться нельзя. Кто знает – может, басурмане только того и ждут, затаившись где-нибудь в засаде.

Конечно, с русскими ратниками биться – радости для татар немного, но уж больно хороша будет добыча. Одна бронь сколько стоит. А к ней еще мечи добавь да луки. И не простые, как у самих татар, – сложные, из нескольких пород дерева склеенные, да еще берестой вываренной обтянутые, да сухожилиями обмотанные, а по рукояти еще и подзорами³⁴ выложенные. Такому луку ни мороз, ни дождь не страшен. Его если продать, то не одного коня купить можно – табун целый.

Словом, могли они поджидать в засаде, ох, могли, а потому не пошли рязанцы в степь, уж больно малы числом – всего-то пара сотен. Было бы побольше времени – можно и до тысячи собрать, а то и до двух, но разве ж дадут нехристи время на сборы.

И уж совсем невмочь стало мальчишке, когда припомнил по его просьбе один из ратников могучего кузнеца. С явной неохотой, сочувственно глядя на мальчика, выдавил воин сквозь зубы, что видел, как тот лежал подле самой кузницы, втоптаный в землю копытами злых татарских коней.

А вот детишек в крепостце сей не нашли. Стало быть, и Полюшки милой, ненаглядной, единственной, нетути. Одна надежда, что в полон увели. Только худая это надежда. Что толку в жизни такой, даже если и не мертва она еще. Хуже нет, как рабскую долю влачить. И счастье еще, если в гарем к какому-нибудь богатею попадет – тогда шанс останется выжить, а так...

И осталась у Ивашки одна только жгучая ненависть к врагам, да еще неизбывная тоска и... последняя непрочная снizка с родиной – дедуня Пахом. Теперь куда он, туда и Ивашка, и деваться некуда.

А тот, как назло, поведал мальцу, что обет он дал: коли все будет удачно, то уйдет он в тот же день в Солотчинский монастырь и весь остаток жизни посвятит богу. Будет молиться за него, Ивашку, чтоб не оставлял господь мальчика своей милостью.

Да и Ивашке, пока в годах малых, тоже было бы неплохо пожить в монастыре, а как войдет в настоящий разум, то пусть сам дале мыслит: постриг принять али уйти из монастыря на поиски лучшей доли.

На том и порешили. Не последнюю роль сыграли и давние рассказы Пахома о рукописных богатствах, кои бережно хранятся в каждой обители, а среди них не только книги духовного содержания, но и всяческие летописи, а также дивные повести о дальних странах и прочих диковинах. В монастырях, что победнее, таковых, конечно, будет поменьше, но в таких древних, как Солотчинский³⁵, их должно храниться преизрядное число.

³⁴ Подзоры – роговые или, реже, стальные пластины на рукояти лука.

³⁵ Солотчинский монастырь был основан великим Рязанским князем Олегом Иоанновичем в 1390 году. Щедро наделенный земельными угодьями от Олега и его преемников, монастырь в самом скором времени занял первое место между остальными в рязано-муромской епархии. В Покровском храме Солотчинской обители, в каменном саркофаге покоится прах самого князя Олега, который перед смертью посхимился и назвался Иоакимом, а также его супруги Ефросиньи (в монашестве Евпраксии).

Глава V УЧЕБА

Лишь один год и довелось пробыть Ивашке в Солотчинском монастыре, а как по весне монастырский обоз засобирался в дальний путь, в Москву, упросил Пахом настоятеля, чтобы и Ивашку с собой взяли – пусть покажут столицу государства русского. Негоже отроку безотлучно сидеть в четырех стенах. И, будучи в добром настроении (Пахом его недавно излечил от жестоких головных болей), настоятель добродушно махнул рукой: мол, быть посему. И стал Ивашка собираться в Москву.

Старый Пахом сильно недужил. Землицу в мае хоть и прогрело солнышко, но в лесу она была еще сыра. Если б годами помладше – глядишь, и не стряслось бы с ним ничего. Вон Ивашка, постреленок, до всего интерес имеет, бегаёт, градом любит, звонарю помогает, крепким румянцем пышет, а у старика дюже хрипело в груди, и кашель, как из бочки, в особенности по ночам, да и в костях превеликая ломота. К тому же Ивашка ночью в лесу спал на дедовом зипуне, а сам Пахом, подстелив свою одежду мальцу, обретался на голой сырой землице, отсюда и тяжкая болезнь.

А посему при расставании по морщинистой щеке старика пробежала скупая слеза. Чужал он, что не свидится больше с милым ему сердцу мальчуганом. Да и Ивашке при виде его слез взгрустнулось. Как мог утешил он Пахома и рад был бы, чтобы обоз не спешил выезжать, поскольку сил вовсе отказаться от поездки не было.

Сами судите, каково мальчугану в восемь годков оказаться за четырьмя стенами. Хотя ему тоже вскорости дело нашлось. Приставили Ивашку оказывать посильную помощь седому монаху Пафнутию, который во всем монастыре считался первейшим начетником и имел в книжное хранилище невозбранный доступ. А там... Ох, сколь много там до поры до времени скрывалось дивного.

Ивашка на первых порах чуть ли не ночевал в этом хранилище, благо, что даже настоятель, особенно после небольшой проверки, доказавшей, что сей младень и впрямь может рзво честь по впервые открытой книге, смотрел на это сквозь пальцы. Правда, свитки, покрытые седой пылью, которая на иных лежала веками, ему читать с непривычки было в тяжкий труд. Однако любопытство, аки вода, что неустанно точит камень, все превозмогло, и ко времени отъезда Ивашке удалось прочесть много чего любопытного. Пафнутий же, видя такое старание, лишь скупно улыбался в седую бороду, а его глаза, выцветшие от времени, казалось, бережно ласкали и гладили Ивашку, поощряя мальчика к дальнейшим подвигам.

Скуп на похвалу был старец, но и он открылся мальцу всей душой в своих многоглагольных рассужденьях. Как он державное строение Руси понимает, чем оно от прочих стран отлично и прочие свои сокровенные мысли успел изложить. Они, конечно, были мудреные, а иные из-за младости Ивашкиных лет оказались и вовсе ему недоступными...

Порой старик забывал, что даже ведь и не юнец перед ним стоит, а дитя годами, но рассуждал здраво и мысли так умело подкреплял вескими доводами, что Ивашка, хотя порой не разумел и десятой части сказанного, сердцем чуял, что прав старец, во многом прав, если не во всем. Уж очень старательно вкладывал Пафнутий душу в свои пояснения. А как иначе, если старец говорил все это, не только крепко обмыслив, но и выстрадав, через свое больное сердце пропустив, – и мудрые суждения, и веские доводы в их оборону.

К тому ж пусть и не понимал Ивашка многого, но жадно, будто сухая губка воду, все выпитывал в себя, дабы после обдумать и уловить суть, дойти до сердцевины.

Память детская – самая лучшая, и там, в ее недрах, откладывается все, словно дрова впрок, которые запасаёт на зиму мужик, чтобы в студеные морозы, когда явится в них нужда,

затопить печку да согреть дом. Одно только рассуждение старого монаха Ивашка вмиг понял и запомнил, да и то лишь потому, что в нем монах правдивыми да гордыми словами возвеличил самого мальчика:

– Главней же всего на земле русский народ, Ивашка. Ибо царь правит, бояре – советчики его, воины охраняют, купцы торгуют, а не будь пахаря – и их никого не стало бы. Некем править, некого охранять. Да и сами воины тоже из народа идут. Цени, Ивашка, кем бы ты ни стал в своей жизни, русского хлебопашца, ибо он Русь кормит. Кто знает, какой расклад господь бог тебе уготовил, какая планида тебе светит, но станешь ли ты в зените лет купцом, стрельцом, али боярином знаменитым, али монахом, помни, отрок, в чем русская сила.

– А как же отец Феофилакт на днях мужика бил жучиной здоровой?

Задумался Пафнутий, но потом нашелся:

– То он в пустой горячности. Ныне же сердцем отошел и уже третий день, великий пост на себя наложив, из кельи не выходит. Поклоны бьет и грех свой замаливает.

Правда, тут старец слегка погрешил против истины, ибо отец Феофилакт на самом деле постился не потому, что постоянно употреблял в дело свою мощную длань и мужику из сельца, приписанному к монастырю, чуть не свернул скулу в гнев за скудость даров, а просто монаха застукал настоятель, благочестивый отец Феодор, тезка царя, здравствующего ныне, за превеликим бражничаньем да дерзким раз-глагол ьствованьем о женской плоти.

Но, нимало не смутясь и посчитав сие святой ложью, коя идет во спасение юной души, Пафнутий продолжил:

– Отсель первейшее правило для себя возьми: наперед крепко думай, а уж опосля согласно ей твори дело, дабы не пришлось каяться в тяжких грехах. Ибо сперва было слово, а потом – дело. Тако и в святом Евангелии заповедано.

– А ежели я так завсегда делать стану, то на бога буду похож? – наивно спросил Ивашка.

Пафнутий даже подскочил от такого богохульства и, несмотря на кроткий нрав, наделил любознательного мальчишку увесистым щелчком по лбу. Впрочем, он тут же с покаянным видом перекрестился и, вздохнув, прошептал:

– Господи, прости мя грешного и тако же отрока сего неразумного, ибо дитя он и не ведает, что уста его глаголют. По наивности сие размышление, а не по гордыне греховной. – А потом опять принялся учить, запасясь терпением: – Такого и помышлять не смей – грех тяжкий. Токмо всей жизнью своей, аки снег чистой, и молитвами усердными заслужить мы в состоянии царствие небесное. А удостоится его токмо тот человечешко, у коего в душе паче устремлений суетных и мирских, аки огонь небесный, две любви сиять будут: к многострадальной нашей родине-матушке да к родителям своим, кои тебе весь мир божий подарили. – Тут у старика, толковавшего вкривь и вкось святое писание, но зато от сердца, даже слеза пролилась, и он будто сам краешком глаза заглянул в то царствие небесное, кое непременно должен заслужить сей светло-русый мальчонка, пытливо ловящий каждое его слово.

– А как же так, дедуня? – Ивашку вдруг сомнение прошибло. – Ведь из родителей я одну матушку и помню, а книги гласят, что жена... – тут он нахмурился, вспоминая, и, просияв, нараспев продолжил: – ...сеть прельщения человеком, покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, цвет дьявола. Выходит так, что ежели я матушку люблю, значит, меня черти в ад утащат? – Замолкнув, он поднял на Пафнутия свои большие детские глаза и грустно добавил:

– Токмо я ее все равно любить буду. Пусть тащат.

От этих слов у старого монаха сердце в груди сжалось.

– И правильно, Иванушка, – вложив в свой хриплый голос всю нежность, на какую был способен, ласково ответил он. – А то, что чел ты мне, вовсе не про твою матушку писалось.

– А про кого? – поинтересовался Ивашка, и перед его глазами всплыло нежное веснушчатое личико Полюшки.

Он зажумрил глаза, а открыв их через миг, увидел перед собой только старого Пафнутия. Полюшка исчезла.

Тогда он прошептал про себя еле слышно: «И ее любить завсегда буду. Пущай тащат».

Между тем монах, медленно выдавливая из себя каждое слово, будто оно комом стояло в груди, честно пытался ответить на Ивашкин вопрос.

– Сие реклось про... – и после паузы хитро добавил: – Чел я как-то про Лександра, коему за храбрость прозвище Невский дали, сказывать тебе, ай?

– Конечно, дедушка, я про такое страсть как люблю слушать. – И Ивашка в своей детской непосредственности тут же забыл, о чем они говорили минутой раньше, – Невский был интереснее.

Старый Пафнутий, признаться, и сам вместо святого писания гораздо больше любил читать совсем иное. Из рукописных списков и прочих толстенных фолиантов, коих он немало прочел на своем веку, больше всего ему по душе были не псалтыри с евангелиями или Ветхий Завет, но – мирское.

Зачастую он сам себя попрекал этим грехом. Случалось, что в порыве раскаяния и епитимью накладывал на свое грешное тело, однако слабости сей одолеть никак не мог.

С ужасом думал он о судном дне, когда черти, сложив возле него превеликий костер из того количества небожественных рукописей да фолиантов, кои прочел он на этом свете, подожгут все это и будут жарить его на нем.

При этом видении Пафнутию на душу ложились еще сразу два тяжких греха: ему почему-то становилось жаль вовсе не свою бессмертную душу, а старинные манускрипты, что занимались у его босых ног легким огоньком, а самый главный толстый черт с красным носом и связкой ключей на боку представлялся очень похожим на отца Феофилакта. Ну прямо как две капли воды.

Словом, сколько Пафнутий ни бился сам с собой, но грешное любомудрие почему-то всегда одерживало в этих битвах победу. Вот почему он с гораздо большей охотой и жаром рассказывал Ивашке не о святомучениках, но о героях земли Русской да о русских князьях. Причем вместо того, чтобы начинать, как и положено, со святой Ольги, нареченной в христианстве Еленой, и ее внука – равноапостольного Владимира Красное Солнышко, названного во крещении Василием, он и тут свершал очередной тяжкий грех.

Почему-то все время получалось так, что он начинал свои рассказы с основателя Рюрика, плавно переходя на не менее свирепого язычника Олега и его поход на Царьград, после чего повествовал о великом воителе Святославе.

Правда, сказывал он и дальше о племени Святославовом. Было что поведать ему и о сыне Владимира – Ярославе Мудром, при святом крещении получившем имя Георгий. А уж тут непременно заходила речь и про Бориса с Глебом да про Святополка Окаянного, ну и далее – про Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо и прочих.

Но особенно он оживлялся, когда рассказывал про русских героев, прославивших себя в битвах и храбро сражавшихся за Русь: Александра Невского и Дмитрия Донского. Не забывал Пафнутий и удалых мужей рязанских: инока Пересвета, который хоть и носил монашье платье, а в Куликовской битве сумел свалить богатыря Челубея, и про Евпатия Коловрата, чье воинское мужество привело в великое удивление даже врагов. Только один раз Пафнутий недовольно крякнул, когда сам же случайно завел речь про великого рязанского князя Олега Иоан-новича.

– Дело сие темное, однако же чел я некие грамотки и скудным своим умишком уразумел, что был сей князь не Иуда, но тайный друг Дмитрия и враг Мамая. Нет и не было, – повысил он тут грозно голос свой, будто доказывая что-то неразумному отроку, – предателей земли Русской в Переяславле-Рязанском. И то, что не пошли рязанские ратники биться

на поле Куликово, – тоже лжа несусветная. О том яснее ясного глаголет в своем сказании и старец Софроний, надо лишь поглядеть, сколь откуда пало³⁶, и умному все сразу станет ясно, а дурню сколь ни поясняй, он все едино в толк не возьмет.

Не раз и не два застав их за подобными беседами, начинал уже хмурить брови настоятель, пока наконец это ему окончательно не надоело. Исповедуя как-то Пафнутия, он попрекнул его:

– Не тому отрока учить потребно. Надобно более на молитвы опору делать, а коль младень сей стариной влечется, так на то жития святых есть, тако же и других святых угодников. А то он, поди, окромя «Отче наш» и не слышал от тебя боле ничего до сего дня.

Однако отец Пафнутий, изловчась, вышел из щекотливого положения без малейшего урона как для себя, так и для будущих занятий с Ивашкой.

– В хору младень поет и все молитвы и псалмы уже давно назубок знает. А жития великих людей Руси, кои хучь и светскими были, я ему даю, дабы ум его в праздности не пребывал, но беспрерывно память свою упражнял.

И правда, стоило Ивашке два-три раза молитву прочесть или спеть псалом, как все это вмиг врезалось в память мальчугану. Так что хоть Пафнутий его и не учил специально никаким молитвам, но и не кривил душой, давая такой уклончивый ответ настоятелю. Ивашка и вправду все знал назубок.

И теперь, собираясь в дальнюю дорожку, Ивашка жалел лишь о том, что с обозом этим не едут ни старец Пафнутий, ни сильно занедуживший дедушка Пахом. Зато ехал отец Феофилакт – главный дока в торговой цифири, хотя и любивший хмельное зелье, причем порой без меры, но четко ведавший и как вести торг, и как отваживать покупателей от супротивников по торговому делу, да и прочим купеческим мастерством владеющий в совершенстве, невзирая на рясу и духовный чин.

Завсегда пребывая в хмельном подпитии, колеблющемся от умеренного до состояния непристойного, он, пока обоз неторопливо двигался к Москве, усадив подле себя Ивашку, учил его считать цифирь, да не на бумаге, а в уме. Искусство это было хоть и нехитрое, но попервости подзатыльников, тычков да щипков мальчик отхватил немало. Уж больно нетерпелив был отец Феофилакт и чем больше принимал хмельного зелья, тем скорее впадал в гнев.

Однако ж, когда добрались до Москвы, Ивашка освоил и эту премудрость. Под конец пути он уже на всякие каверзные вопросы мог дать почти мгновенный ответ, чему отец Феофилакт немало радовался и в какой-то мере даже возгордился, ибо «каков учитель, таков и ученик». Так что вместо подзатыльников он все чаще и чаще нежно поглаживал Ивашку по голове.

В Москве же мальчугана поначалу даже оторопь взяла. Кажись, и Переяславль-Рязанский – град немалый, есть в нем на что подивиться, начиная с крепких стен, есть на что поглазеть. Однако Москва потрясла юного отрока.

Чем только не торговали с возов и лавок, бессчетной гурьбой стоящих в Китай-городе. Жито всякое в мешках на телегах, соль, вино, квас на разлив, посуда и деревянная, и металлическая, с узорочьем (и как такое чудо из обычной глины делали?), ковры и одежда всевозможная.

Если пройтись по одним только лавкам, что торговали тканями, и то глаз оторвать невозможно. Тут тебе и разнообразные шелка, блескучие, переливающиеся, и иное что хошь. Имеется у купца восточного и камка, и китайка, и атлас, и наволока, и хамьян.

³⁶ Очевидно, здесь монах подразумевает краткий перечень количества павших на Куликовом поле бояр. В «Задонщине» действительно исчисляется больше всего погибших бояр именно из Рязанского княжества: 70 человек. Только потери бояр Звенигородского княжества сопоставимы с рязанскими – 60 человек, а у остальных и того меньше: 50 суздальских, 40 – переяславских и муромских и т. д.

Коль ты вовсе малую деньгу имеешь да желаешь купить что поскромнее, и тут он тебя не отпустит: предложит кумача алого, али иного цвета, или бязи, или миткаля, серапата, сатыни.

Рядом стоит вовсе другой обличьем, хотя тоже враз видно, что иноземец. Этот привез товар совсем из других краев, а потому, коль заманит тебя к себе, то лишь для того, чтоб запродать либо аглицкое сукно, либо фряжское, а может, лимбарское, брабантское, ипрское, амбургское, гетское, шебединское, греческое.

Тут же и иные купчишки, которые либо перекупили товар у иноземцев, либо имеют свою доморощенную выделку, настойчиво пытаясь всучить ее покупателю.

А со всевозможных лотков с пирогами доносится такой вкусный запах, что, кажется, ел бы и ел целый день. И пускай только что из-за стола, но, проходя мимо, все равно не сумеешь удержаться – что-то да купишь. Тем более что у бойких баб есть чем угодить любому, даже самому привередливому едоку. Не хочешь пирог с капустой – бери с кашей, не желаешь – ягодный опробуй, а коль посытнее охота – так предложат с мясом ал и птицей какой. А сочни какие, а оладьи, а ватрушки, шаньги, колобки, а пряники медовые! Не-ет, тут без малой деньги – а лучше двух-трех – делать нечего. Не ровен час – слюной захлебнешься.

Если же захочется запить сей пирог, так тут же рядом только одного квасу с десятков сортов сыщется: и вишневый, и хлебный, и смородиновый, а возжелалось чего покрепче, так остуди глотку имбирным пивом, прямо с ледку, али ячневой или хмельной брагой.

Ну а коли деньга лишняя завелась и тебе ее девать некуда, то можно и заморского винца отведать, сладкого да тягучего, али простого, двойного или тройного. А народу-то, народу – как муравьев, и все куда-то бегут.

Первое время Ивашка даже с телеги почти не слезал, уж очень ему было боязно. Опасался он, что нескончаемый людской поток снесет его, затопчет и, даже не обратив на это внимания, помчит себе далее, словно бурлящая река в весеннее половодье.

Лишь спустя пару дней, малость пообвыкнув, Ивашка пустился по сему великому граду в путешествия, дабы побольше узреть, чтобы было о чем рассказать при встрече с отцом Пафнутием и порадовать зоркостью сердце старого Пахома.

Куда только не забредал отрок, а уж торговый Китай-город облазил вдоль и поперек. Благо, что отец Феофилакт, занявшись усердной торговлей, по вечерам все больше считал барыши, усердно пряча деньгу. Да еще монах частенько прикладывался к чаше крепкого меду, оправдывая себя словесами пресветлого князя Владимира Мономаха, кой однажды молвил, что душе русича лучше дубинное битье, нежели бесхмельное питье.

И, поучительно вздев указательный перст, отвечив улыбающемуся (уж больно чудной был в эти часы Феофилакт) Ивашке, что даже Владимир Равноапостольный, крестивший Русь, выбирая, в какую веру подняться, именно потому и отказался от ислама, что ихний Магомет вина вовсе не велел пити, а какой на Руси праздник без доброй чары.

Конец разглагольствования Феофилакта Ивашка обычно не слыхал, ибо, набегавшись за день, засыпал.

– Веселие на Руси есть пити, – обычно заканчивал красноносый монах и тоже погружался в хмельную дрему, переходящую в крепкий беспробудный сон.

Глава VI ПРОДАЛИ

Шел уже седьмой день их пребывания в Москве. Феофилакт с каждым днем все больше мрачнел, потому что монастырские товары раскупались неохотно и в цене приходилось делать скидку за скидкой. В один из вечеров он, заметив еще в полдень отсутствие Ивашки, жестоко выбранил мальчугана и запретил отходить от себя куда бы то ни было. День-деньской томился мальчик, вынужденно, от нечего делать, слушая надсадное ворчанье Феофилакты, изредка прерываемое бульканьем из глиняной корчаги, к коей монах прикладывался все усерднее, пока наконец, растянувшись на возу, Феофилакт не начинал храпеть, не выдержав единоборства с хмельным зельем. Ивашка даже засмотрелся, как это его учитель по цифири может спать в такую жару, да еще будучи весь облепленный мухами, как вдруг кто-то взял его за плечо.

Обернувшись, Ивашка увидел высокого худого человека, на вид уже немолодого и одетого во все черное. Две резкие морщины, идущие острыми стрелами от крыльев массивного носа, казалось, прорезали его лицо насквозь, настолько они были глубокими. Бороды и усов у него не было вовсе, что показалось мальчугану удивительным, ибо такого в обычае на Руси не было, да и черная одежда, хоть и привычного покроя, тоже показалась Ивашке в диковину.

«Иноземец, поди», – мелькнула у него в голове мысль, но тот обратился к мальчику на чистом русском языке:

– Ты кто? Как звать? Кто такой?

Ивашка нерешительно повел плечами, потом выпалил:

– Ивашка я. С монастыря...

– Послушник?

– Нет, я... так... живу там. А вы, дяденька, иноземец? С Рима будете? – в свою очередь полюбопытствовал мальчуган, вспомнив название города, о котором часто рассказывал ему, вспоминая свои скитания, еще дед Пахом, и был удивлен бурной реакцией незнакомца.

Тот, крепко стиснув губы и больно ухватив Ивашку за ухо, прошипел ему прямо в лицо, сверля мальчика бледно-голубыми, как бы выгоревшими глазами:

– Почему Рим? Откуда про сей город знаешь? Почему так говоришь?

– Дед Пахом сказывал про град сей, жил он там давно еще, – морщась от боли, захныкал Ивашка.

– А почему решил, что я оттуда? Может, из Парижа, Варшавы, Кракова, а? – продолжал спрос чужеземец.

– Ой, дяденька, уху больно, отпустите за ради Христа! – взмолился Ивашка. – Я сих градусов и не видывал, а про Рим дедуня сказывал, что там монахов ужась сколько, в одеже черной все ходят, вот я и подумал... ох... – Ивашка вздохнул от облегчения, почувствовав, что пальцы-клещи наконец разжались, и, потирая малиновое ухо, с опаской отодвинулся от иноземца.

– Помимо Рима на свете есть множество всяких городов, а сам я буду купец и лекарь, – помолчав, пояснил незнакомец.

– Как отец Феофилакт? – поинтересовался Ивашка.

– Кто это?

– А вон спит. Я с ним сюда приехал, Москву поглядеть.

Незнакомец с минуту разглядывал багровое лицо монаха, залихватски храпевшего на сене, брезгливо поморщился, увидев мух, ползавших по его лицу, и наконец, толкнув его, громко сказал:

– Вставай.

Храпенье прекратилось, но монах не проснулся. Иноземец еще раз толкнул его нетерпеливо: – Ну!..

Феофилакт открыл глаза. Потом потер их кулаком, недоуменно глядя на иноземца, и, окончательно отойдя от сна, хрипло кашлянул:

– Чего надо?

– Поговорить, – последовал сухой ответ.

Монах встал, подозрительно поглядел вокруг, послушно сделал несколько шагов в сторону, куда его властно увлек человек в черном, и хмуро произнес:

– Не пойму я чтой-то... – Но незнакомец прервал его вопросом:

– Как идет торговля? – И насмешливо прищурился.

– Помаленьку, – уклонился от ответа монах, по-прежнему не понимая, кто же перед ним стоит: праздный гуляка или возможный покупатель.

– Да-а-а, – сочувствующе протянул человек в черном. – Вижу, что помаленьку. А точнее, совсем маленько, – и он сочувствующе вздохнул.

– Цены настоящей не дают. А товар славный, – пожаловался монах и поинтересовался:

– А ты как, человек хороший, всерьез вопрошаешь али так?

– Всерьез, – не стал увливать иноземец.

– И сколь дашь?

– А сколь запросишь?

Феофилакт потряс головой, проверяя, не наваждение ли пред ним.

«Чтой-то тут не так», – мелькнула мысль и пропала, резко сменившись другой, недоверчивой, но уже радостной:

– Ну, а ежели я по рублю на четверть ржи скажу?

– Пойдет, – утвердительно кивнул иноземец. – Только чтобы четверть новая³⁷ была, – сразу уточнил он.

– Ишь какой, – ухмыльнулся Феофилакт. – Впополам цену рубишь. Так-то оно негоже, мил человек. А давай не по-твоему и не по-моему. Я тебе новыми четвертями, а ты мне за них по рублю и шесть десятков денег сверху³⁸. Идет?

Незнакомец некоторое время стоял молча, что-то высчитывая в уме, после чего согласно кивнул головой.

– Тогда по рукам, – и Феофилакт протянул мощную длань с поросшими густым волосом пальцами, чуть подрагивающими от нетерпения.

«Неужто возьмет?» – не верил он неожиданной удаче. За такую цену он и не рассчитывал расторгнуться, а тут...

– Обожди. Купить я куплю, – иноземец в подтверждение потряс тугой мошной, – но попрошу придачу.

– Каку хошь, – обрадовался монах.

Цена, названная им, была чуть ли не вдвое выше той, по которой он уж было хотел продать рожь, и в полтора раза превышала среднюю.

– Мне нужен мальчик.

– Какой мальчик? – вытаращил глаза монах.

– Вон тот. – И незнакомец тонким длинным пальцем небрежно указал на Ивашку.

– Как так «нужен»? – Лицо Феофилакta начало наливаться гневом. – Чай не холоп, не смерд какой. Вольный, с монастыря. Не хозяин я ему. Да и не вещь это, чтоб купить-отдать-

³⁷ В то время существовала так называемая старая четверть, составлявшая четыре пуда ржи, и новая, «казенная», вмещавшая шесть пудов.

³⁸ В рубле того времени было 200 денег, или 100 копеек.

продать можно было. Лучше бы ты шел отсюда куда подальше, человек, а то я и осерчать могу. – И, поморгав секунду (видно, не выходила из головы неудачная торговля), добавил: – Вот другого чего могу дать. Не желаешь? Все, что душе угодно.

Незнакомец покачал отрицательно головой и пояснил:

– Мальчика я уговорю. Он поедет со мной добровольно, а вам за труды я дам талер, – и иноземец потряс черным тугим мешочком, который тотчас издал веселый залиvistый звон.

– Сказал же я, – крикнул монах. – Не продается отрок. Не продажный. Да и цена не сходная. Просто курам на смех, да и только. Что я, ефимков³⁹ не знаю? За них много не купишь.

– Не лги, монах. – Человек в черном укоризненно покачал головой. – Лгать – грех. А талер за него, – и он кивнул головой в Ивашкину сторону, – это вполне достаточно, если не сказать больше. Просто мне срочно нужен мальчик в услужение, вот я и переплачиваю.

– Нет, нет и нет, – монах решительно затряс головой, и иноземец, презрительно усмехнувшись, произнес:

– Ладно. Знай мою доброту. Два талера. – Запустив пальцы в мешочек, он ловко извлек монету и протянул ее Феофилакту.

Тот недоверчиво взвесил ее в руке.

– Да они у тебя, поди, коновые?⁴⁰ – протянул он хмуро, продолжая колебаться.

– И снова ты лжешь, – последовал жесткий ответ. – Или сам не чувствуешь?

– Если б ты мне хотя бы рубль предложил, – неуверенно протянул Феофилакт, – а то два талера⁴¹.

– Я дам тебе больше, – снова усмехнулся незнакомец. – Ты получишь не только два талера, но и бочонок бургундского в придачу. – И коварно добавил: – У вас его, наверное, пьют только архиереи.

Монах почесал спутавшуюся бороду. Дело в том, что в ожидании хороших покупателей он уже изрядно потрепал монастырскую казну. И даже та малая пока выручка, которую ему удалось получить, наполовину откочевала из его кошелека. Чтобы покрыть недостачу, ему с лихвой хватило бы и одного талера, а значит, на второй можно смело пить. К тому же из тех денег, что ему предложили за рожа, тоже можно было утаить – Феофилакт наморщил лоб, долго шлепал губами – да, получалось изрядно. Во всяком случае, не меньше рубля – это точно. Опять же заботы за товар уже не будет, да еще и бочонок хорошего вина...

Особенно понравилось Феофилакту упоминание об архиерее, с которым он теперь может совершенно на равных пить дорогое и благородное вино. Он даже хмыкнул себе в бороду от такого сравнения, но все же сомнения оставались.

«Наобещает с три короба, а потом ищи ветра в поле», – и вновь с недоверием глянул на покупателя, но тот развеял все его сомнения, сказав:

– Талеры отдам сейчас. Ближе к вечеру вам доставят вино. За товар расплачусь позже, когда приду забирать мальчика.

– Бочонок пораньше бы, – пробормотал глухо монах, отводя глаза и как бы стыдясь своего пристрастия к хмельному, кашлянул и робко спросил:

– Не разбавлено вино-то?

– На дорогой кафтан заплату из грубого сукна не ставят, – улыбнулся человек в черном. – И сукно без пользы уйдет, и кафтан загубишь. – И, глядя умными пронзительными глазами на Феофилакта, успокаивающе произнес:

³⁹ Ефимок – так называли на Руси талеры.

⁴⁰ Талеры в XVI веке выпускались не только на территории Богемии, но и в Польше, причем при Сигизмунде II Августе (1520 – 1572), короле Польском и великом князе Литовском с 1548 года, они были двух видов – «легкие», весом около 20 граммов (12, 5 г чистого серебра), которые на Руси как раз и назывались «коновыми», и «тяжелые», весом 28, 8 грамма.

⁴¹ Рубль того времени весил примерно чуть более 72 граммов серебра, то есть равнялся почти трем талерам.

– А за мальчика волноваться не надо. Ему у меня будет хорошо. У себя же скажете, что утонул в реке. Всякое ведь бывает.

– Бывает, – сокрушенно вздохнул монах, качая большой кудлатой головой с торчащими из нее клочками сена, да так горестно, будто Ивашка и впрямь уже утонул.

Впрочем, горе горем, а денежки – они счет любят. Мало ли что мог подсунуть этот странный человек в черном. Но вроде бы ефимки и впрямь были «тяжелыми».

А когда он поднял голову, то с удивлением обнаружил, что незнакомец уже исчез в шумной многолюдной московской толпе. Да как быстро – вроде только что здесь был, а глядь – и нетути.

«Можа, сон пригрезился али с вина помстилось, – ошалело подумал Феофилакт. – Можа, и не было его вовсе?»

Но талеры, совсем новенькие, блистая радующей глаз белизной, по-прежнему оставались зажатыми в его крепкой, могучей длани, и монах, вздохнув и перекрестив рот, вновь пошел спать, резонно рассудив, что бесплотный дух серебряные монеты в руках не таскает. Но сон к нему уже не шел. Мучила совесть.

Много далеко не богоугодных дел свершил Феофилакт в жизни, но людьми ему еще торговать не доводилось, и возникло чувство вины перед этим притихшим, будто почувывшим неладное, отроком, неотступно смотревшим на него большими васильковыми глазами. И чтобы оторваться от неприятных дум, монах, подозвав Ивашку, разрешил ему пойти погулять до вечера, только далеко не заходить.

Мальчику действительно что-то не понравилось в их беседе, но детское сердце еще не ведало ни человеческой подлости, ни того, как порой коварно помогает ей неудержимая тяга к хмельному зелью.

К тому же Ивашке, уже окончательно изнывшему за полтора дня от неотступного сидения возле монаха, очень уж хотелось куда-нибудь пойти! Он так обрадовался разрешению погулять, что больше ни о чем и не помышлял. Весь осадок от встречи с человеком в черном исчез в мгновение ока, и через миг Ивашка уже был далеко от возов.

Но на прогулке ему не повезло. Мало того что забрел в какой-то глухой переулок и окончательно потерялся, где он и где искать выход, так его еще обступили босоногие мальчишки чуть постарше и устроили допрос с пристрастием:

– Ты кто такой? Чей будешь?

– Ивашка я, монастырский. А так с Рясска.

– А чего к нам? Почто по нашей улице без дозволения ходишь?

– Какого дозволения? – окончательно растерялся Ивашка.

– А вот какого, – и самый бойкий сильно толкнул его. Ивашка, потеряв равновесие, упал навзничь. Тут же на пыльной земле образовалась гора тел, радостно орущая что-то веселое. Потом она распалась, и ребята, гордо переговариваясь, как лихо они всыпали чужаку, убежали.

Остался один: сопливый, золотушный и хилый, росточком поменьше Ивашки, но с заносчивым выражением на бледном лице.

– Ну что, попало тебе? Будешь еще по нашей улице ходить? – И он надменно подбоченился, глядя на поднимающегося с земли и обозленного нанесенной ни за что ни про что обидой Ивашку.

– Ежели еще раз... – Но золотушник не успел договорить, плюхнувшись в пыль от крепких Ивашкиных кулаков.

Через мгновение он уже отчаянно орал «мама!», пытаясь увернуться и не помышляя о сопротивлении этому чужаку, который оказался таким смелым.

Но уже послышались крики: «Гришку Отрепьева бьют!» и топот приближающейся босоногой ватаги.

Второй раз быть внизу кучи малы Ивашке вовсе не улыбалось. Он вскочил на ноги, утер кровь, текшую из носа, и, пообещав поверженному врагу: «Мы еще с тобой поквитаемся», уже был далеко.

Ноги несли его так резво, а мозг, подсознательно избрав верный путь, так четко сработал, что Ивашка очень быстро очутился возле знакомых мест. Оглянувшись и увидев, что погоня отстала, он тут же сбавил шаг, стараясь идти более уверенно и время от времени сплевывая кровь, сочившуюся из разбитых губ.

«Погоди ужо, – думал он, разгоряченный недавней битвой. – Коли каждый в одиночку был бы, нешто справились? Да ни в жисть. А все разом – немудрена потеха. Так и медведя завалить можно. И этот, Гришка, тоже хорош, чуть не его верх, так „мама“ кричать. Ишь... – и вздохнул горестно. – Хорошо, коли есть кого звать».

Но дальше погрузить ему не удалось, ибо Феофилакт, опасаясь упустить выгодную сделку, уже сотню раз успел пожалеть, что отпустил Ивашку погулять напоследок, и повсюду его разыскивал.

Вечерело. Феофилакты шатало из стороны в сторону – проба, которую он сделал из присланного бочонка, была внушительной. То ли потому, что вино действительно было замечательное на вкус, то ли потому, что, прикладываясь к нему, Феофилакт чувствовал всем нутром, как он приравняется к архиерею и даже становится ему чем-то сродни, но перебрал он на этот раз больше обычного и, увидев Ивашку, первым делом отвесил ему увесистый подзатыльник.

– Ишь, шляется тут, а я... печалуюсь – с трудом выговорил он и смачно икнул. – Чтoб ни на шаг от меня! – И, успокоенный, пьяно погрозил пальцем и отправился спать.

«Что за день такой сегодня, – и Ивашка, опять горестно вздохнув, прилег возле, положив голову на колесо телеги. – То этот черный ухо крутил, то ребята ни за что ни про что нажились, теперь вот от отца Феофилакты подзатыльник, а ведь сам пустил гулять».

– Это за грехи, – слышался где-то рядом голос.

Ивашка, вздрогнув, ошарашенно обернулся, но тут же успокоился – два мужика возле соседней телеги лениво переговаривались друг с другом.

– Может, Господь и даст, родит еще, – глубокомысленно заметил другой.

– Да где там. Родила уже, но девку, – зашептал опять первый. – А брат царицын подменил ее на сына.

– А откель взяли-то? – оторопело спросил второй, с вытянутым лицом, озабоченно озирающийся все время по сторонам, – не заметил бы кто, какие они ведут крамольные разговоры. Однако любопытство пересилило страх и интерес к новостям из царевой жизни был настолько велик, что он поторопил своего собеседника: – Откель взяли-то, говорю?

Тот усмехнулся.

– Ишь, взяли... У жены стрельца забрали.

– Вона как!..

– Да-а. А ты думал. Так про это дело прознали и царю донесли.

– Самому? – ахнул озирающийся.

– Тихо ты, не ровен час, услышит кто. Сие есть секрет большой. Так вот, царь, Федор Иоаннович, спознав такое дело, хотел женку свою в монастырь отправить и боярина Годунова, брательника ейного, туда же.

– В женский-то? – усомнился второй.

– Да ты слушай, дурья твоя башка, – возмутился рассказчик. – Сам ты женский. Знамо дело, в мужской. Да только боярину не с руки это. Теперича он самый знатный изо всех, наипервейший опосля царя на Руси, брат царицы, а тут в монастырь... Негоже это. Вот он и пошел с ножом на царя-батюшку.

– Свят, свят, – замахал руками второй и опять, оглядевшись по сторонам, заторопил рассказчика. – А дальше-то, дальше что? Неужто убил?

– Бог милостив, ранил токмо, да и то не сильно, это мне надежные людишки поведали. Есть у меня здесь знакомцы в дворне у одного боярина, вот они и слышали краем уха. А еще баяли, будто и дите вовсе не цареву у ей.

– А чей жа? – в недоумении уставился на говоруна мужик с яйцевидным черепом. – Она же его жена?

– Жена его, а дитя неведомо чье. Царь в монастырь молиться ходил, а царица и нагуляла.

– Да ну, – опять усомнился второй.

– Вот те и «ну». Так царь за то и хотел ее в монастырь. Чтоб не гуляла, а честь царскую блюла.

Человек в черном возник возле беседующих сплетников будто из-под земли. Оба мужика ошалело разглядывали его какое-то мгновение, а потом, опомнившись, вскочили на ноги и смущенно потупились. Человек в черном смерил их строгим взглядом ледяных, мертвенно-голубых глаз и не спеша двинулся дальше. Один из мужиков, поняв, что нельзя терять ни минуты, бросился к нему.

– Боярин, а боярин, – робко окликнул он и, не дожидаясь, когда тот обернется, зашептал со спины прямо в ухо: – Мы ведь того. Это один юродивый здесь все хаживал, так он и орал, а я вот пересказал своему знакомцу. Боярин, ты не... – и остановился как вкопанный, услышав раздавшуюся в ответ непонятную фразу.

– Чево?

Фраза прозвучала снова, но уже с небольшим добавлением, и мужик, облегченно заулыбавшись, повернулся к своему собеседнику, будто манны небесной вкусив:

– Так он иноземец. На нашем ни бельмеса. Второй перекрестился.

– Слава тебе господи. – И оба, как по команде, куда-то делись от греха подальше.

Человек в черном усмехнулся. Еще бы – ведь все эти слухи, ходившие о царской семье и не имевшие под собой ни малейшей почвы, распускались именно им самим. О-о, он знал, как действовать, сообщая строго по секрету, один на один и всего двум-трем доверенным боярам, не больше, а те уже дальше. И хорошо, видать, разносили, коли не только знать, но и ихняя дворня, и даже дальние родственники дворни, и просто знакомые да земляки уже знали, как им казалось, все о царской семье.

Зачем это ему было нужно? Об этом чуть позже. Пока же человек в черном, подойдя к храпевшему, как всегда, Теофилакту, нетерпеливо потряс его и, бросив туго набитый мешочек прямо на широкую монашескую грудь, вымолвил:

– Задаток. За товаром скоро приедут.

– Токмо... – опухший от хмельного сна Теофилакт нахмурился, чувствуя вину перед Ивашкой, немного помялся, но все-таки выдал из себя: – Мальца сам стоворишь, а то как-то нехорошо.

Человек в черном заверил монаха:

– Мальчик уйдет только по своей воле. Это непременно.

Затем, уже не обращая на монаха ни малейшего внимания, повернулся к Ивашке и, присев возле него на корточки, ласково спросил:

– Другие города есть желание увидеть? Великого князя Дмитрия Ивановича – родного брата нашего царя узреть?

Ивашка недолго колебался. Жажда новых впечатлений так сильно захватила его, что он решительно ответил:

– Знамо дело, хочу.

– Тогда идем. – И незнакомец спокойно, будто и не ждал другого ответа, взял Ивашку за руку.

– А как же отец Феофилакт? – спросил тот. Незнакомец внимательно посмотрел на Ивашку:

– Ты послушный. – Тонкие губы чуть раздвинулись в улыбке. – Но за него ты можешь не беспокоиться. Я уже обо всем с ним договорился. – И он повел мальчугана к себе, в небольшой приземистый деревянный домик, находившийся, как оказалось, почти рядом.

Здесь было чисто, но как-то неуютно и... тревожно. Впрочем, в последнем, скорее всего, был виноват недостаток света. Просторная горница освещалась лишь тусклым огоньком горящей перед образами лампады. Ивашка за день так устал, что даже не стал разглядывать, куда он попал, а сразу же брякнулся на сундук, застеленный полушубком, и, подсунув вывернутый овчиной наружу рукав себе под голову, через минуту уже спал крепким сном.

Только раз сквозь дрему померещилось ему, что кто-то стоит возле него и сверлит тяжелым страшным взглядом. Но это длилось всего один миг, после чего Ивашка уже ни на что не обращал внимания. Он спал так, как могут спать только дети, безмятежно сопя и видя счастливые сны.

Но человек, стоявший в изголовье, ему не померещился. Одетый во все черное, тайный иезуит ордена Иисуса Бенедикт Канчелло действительно какое-то время внимательно разглядывал его и потом прошептал с довольным вздохом:

– Матерь божья. Как похож. Сама Дева Мария помогает мне. Редкостная удача. – И, погасив свечу, отправился в свою опочивальню.

Глаза его горели холодным голубым пламенем, как лед на солнце, и он даже довольно замурлыкал под нос какую-то веселую итальянскую песенку.

Собственно говоря, Канчелло и сам не особенно-то понимал, зачем он купил мальчишку и как его можно использовать в будущем. Пока что Бенедикт твердо знал лишь одно – только богом мог быть послан ему этот мальчуган, так удивительно похожий на наследника престола, царевича Дмитрия. Это не случайно. Это дар Небес, и не воспользоваться таким даром – грех.

Потому Канчелло, едва увидев Ивашку, сразу же решил не упускать такого благоприятного момента. Открывались новые, еще им самим не в полной мере осознанные возможности сплетения новых интриг и комбинаций, направленных против царя Федора, которого иезуит вовсе не ненавидел, а даже немного жалел, ибо человек, стоящий на пути братьев ордена Иисуса и мешающий осуществлению их планов, был обречен, независимо от того, сознательно он мешал или просто самим фактом своего существования на белом свете. Не имело также значения и кто он: знатный и богатый или простолюдин, пребывающий в нищете. Царь Федор мешал уже тем, что был жив. Исходя из этого он был обречен.

Никому из иезуитов, включая самого Антонио Поссевино⁴², не удалось добиться своего на Руси, хотя несколько лет назад, во время их недолгого свидания в одной из комнат папского дворца в Риме, тот же Антонио держался с ним весьма и весьма надменно, пусть внешне это никоим образом не было показано, даже напротив – учитывая речь, дружеские ласковые похлопывания по плечу, заботливые вопросы и, главное, чего и жаждал Канчелло, разрешение на любую импровизацию и аферу. Именно такой задачи и жаждал в то время Бенедикт – авантюрист по натуре и тонко разбирающийся в политике человек.

Он усмехнулся, вспомнив еще раз во всех подробностях ту памятную встречу. Услужливая память цепко удерживала в голове все второстепенные и самые, казалось бы, незначительнейшие детали.

⁴² Антонио Поссевино (1533 – 1613) – иезуит, тайный агент, один из наиболее активных проводников агрессивной политики Ватикана на востоке Европы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.